МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине «История зарубежной литературы»

для направления подготовки 42.03.02 Журналистика

Содержат:

1) вопросы для самопроверки (1 семестр, история античной литературы);
2) перечень рекомендуемых публикаций источников для самостоятельной подготовки (2 семестр, история литературы Средних веков и Возрождения);
3) вопросы для самопроверки (2 семестр, история литературы Средних веков и Возрождения);
4) вопросы для самопроверки (3 семестр, история литературы XVII–XVIII веков);
5) вопросы для самопроверки (6 семестр);
6) вопросы для самопроверки (7 семестр, история зарубежной литературы XX века).

1 семестр
Вопросы для самопроверки

Дайте развернутый ответ на вопросы.

1. В чем заключаются национальные (римские) особенности героического эпоса Вергилия «Энеида»?
2. Взгляды Горация на поэзию.

Дайте краткий ответ (2-3 предложения) на следующие вопросы.

1. Что такое ателлана?
2. В чем новаторство Марциала в жанре эпиграммы?
3. Почему Теренций не был популярен у современников?
4. Жанровое своеобразие «О природе вещей» Тита Лукреция Кара.
5. В чем отличие Энея от гомеровских героев?
6. Поэтика комедий Плавта.

Дайте краткий ответ (2-3 предложения) на следующие вопросы.

1. Что такое амплификация?
2. Какой философии придерживался Сенека?
3. Почему Теренций не был популярен у современников?
4. Зачем Тит Лукреций Кар написал «О природе вещей»?
5. «Энеида» как поэма о судьбе.
6. Поэтика комедий Теренция.

Дайте краткий ответ (2-3 предложения) на следующие вопросы.

1. Что такое тогата?
2. Носителями какой философии являются главные герои Петрония?
3. Особенности смеха у Плавта.
4. Кто такие неотерики?

1. Назовите произведение и автора по приведенному отрывку. Лаконично мотивируйте свой выбор.

«Полуживой и слабый, я, конечно, получу заслуженную отставку как инвалид, и разбойники, отчасти чтобы не задерживаться, отчасти чтобы ускорить свое бегство, переложат поклажу с моей спины на

двух других вьючников, а меня, в виде высшего наказания, оставят в добычу волкам и коршунам».

2. Назовите произведение и автора по приведенному отрывку. Лаконично мотивируйте свой выбор.

«Мы как в петле привычки к тщеславному делу; свободы Нам не дано, а зараза писать не у всех излечима. Болью души она держит людей и в них матереет».

3. Назовите произведение и автора по приведенному отрывку. Лаконично мотивируйте свой выбор.

«Словом, сколько раз ни пытался ты нанести мне удар, я отражал его сам, хотя и понимал, что моя гибель была бы большим несчастьем для государства. Но теперь ты уже открыто хочешь нанести удар государству в целом; уже и храмы бессмертных богов, городские дома, всех граждан, всю Италию обрекаешь ты на уничтожение и гибель».

4. Назовите произведение и автора по приведенному отрывку. Лаконично мотивируйте свой выбор.

«Красок в нем более нет, уж нет с белизною румянца, Бодрости нет, ни сил, всего, что, бывало, пленяло. Тела не стало его, которого Эхо любила».

2 семестр

Перечень рекомендуемых публикаций источников для самостоятельной подготовки

1. Английские и шотландские баллады в переводах С. Маршака. – М.: Наука, 1973 (Литературные памятники).
2. Беовульф; Старшая Эдда; Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А. Я. Гуревича. – М.: Эксмо, 2014.
3. Боккаччо Джованни. Комедия флорентийских нимф. Амето. Фьяметта – М.: Худож. лит., 1972.
4. Боккаччо, Джованни. Декамерон; Жизнь Данте. – М.: Моск. рабочий, 1987.
5. Вийон Франсуа. Лирика. – М.: Худож. лит., 1981. (2 экз.)
6. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. – М.: Худож. лит., 1967 (Литературные памятники).
7. Западноевропейский сонет XIII–XVII веков: поэтическая антология. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1988.
8. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: сб. текстов / Предисл. и ред. С. М. Стама. – Саратов: Изд–во Сарат. ун–та, 1984–1988. Пер. с лат. Н. В. Ревякиной.
9. Легенда о Тристане и Изольде / Изд. подгот. А. Д. Михайлов. – М.: Наука, 1976 (Литературные памятники).
10. Лопе де Вега. Драмы и комедии. – М.: Правда, 1991.
11. Мэлори Т. Смерть Артура. – М.: Эксмо, 2007. (Библиотека всемирной литературы).
12. Песнь о Нибелунгах / Изд. подгот. В. Адмони, В. М. Жирмунский, Ю. Б. Корнеев, Н. А. Сигал; Пер. Ю. Б. Корнеева. – СПб.: Наука, 2004 (Литературные памятники).

13. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. – М., 1976 (Библиотека всемирной литературы. Т. 10).
14. Петрарка Франческо. Лирика. Автобиографическая проза / Сост. предисл., примеч. Н. Томашевского. – М.: Правда, 1989.
15. Петрарка, Франческо. Африка. – М.: Наука,1992.
16. Поэзия вагантов / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров. – М.: Наука, 1975 (Литературные памятники).
17. Поэзия трубадуров; Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов. – М.: Худож. лит., 1974 (Библиотека всемирной литературы. Т. 23).
18. Рабле, Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль. – М.: Правда, 1981.
19. Роман о Лисе / Пер. со старофранцузского А. Наймана; предисл. и коммент. А. Д Михайлова. – М.: Наука, 1987.
20. Роттердамский Эразм. Похвала Глупости / Пер. И. Губера / – М.: Гослитиздат,1958.
21. Сервантес Сааведра М. де. Дон Кихот // Сервантес Сааведра М. де. Собр. соч: в 5 т. – М.: Правда, 1961. Т. 1–2.
22. Снорри, Стурлусон. Младшая Эдда. / изд. подгот. О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. – СПб.: Наука, 2005 (Литературные памятники).
23. Шекспир, Уильям. Сонеты. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.
24. Шекспир, Уильям. Трагедии. – М.: Эксмо, 2004.

2 семестр

Вопросы для самопроверки при подготовке к занятиям

1. Определите жанр «Старшей Эдды».
2. Мир глазами древних германцев на основании изучения текста «Старшей Эдды».
3. Как вы понимаете моральный кодекс эпохи в «Речах Высокого»?
4. Древнейший пласт мифов в «Прорицании Вёльвы».
5. Какие существуют версии сюжета о Сигурде и золоте Нифлунгов?
6. Что сближает скандинавский эпос со сказкой? Перечислите фантастические элементы скандинавского эпоса.
7. Охарактеризуйте главного героя кельтских сказаний – Кухулина.
8. Чему посвящены песни «Старшей Эдды»?
9. В чем заключается своеобразие лирики трубадуров?
10. В какой песне «Эдды» рассказывается о происхождении мира?
11. Что представляет собой «Песнь о Нибелунгах»? Какова её историческая основа?
12. Какие социокультурные факторы способствовали появлению и формированию рыцарской культуры?
13. Какие циклы рыцарских романов вам известны?
14. Охарактеризуйте основные этапы жизненного и творческого пути Данте Алигьери.
15. Можно ли считать «Комедию» Данте энциклопедией средневековых знаний?
16. Как складывалась история создания и публикации романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»?
17. Охарактеризуйте образы великанов в романе Рабле.

18. Какова история создания и публикации романа Сервантеса «Дон Кихот»?

3 семестр
Вопросы для самопроверки

Дайте развернутый ответ, проиллюстрировав конкретными примерами.
1. Поэтика романа Гриммельсгаузена «Симплициус Симплициссимус».
2. Барочная поэзия Джона Донна.

Дайте краткий ответ (1-2 предложения).
1. Что такое Фронда и какую роль она сыграла в развитии литературы?
2. Художественные открытия М. де Лафайет.
3. Значение светских салонов в литературной жизни Франции.
4. В чем состоит основной конфликт в поэме «Потерянный рай» Д. Мильтона?
5. Поэтика барочной поэзии Испании (Кеведо и Гонгора).
6. Новаторство Расина как классициста (в сравнении с Корнелем).
7. Как пуритане относились к театру?
8. Кто такие поэты-метафизики?
9. Что такое максима? Самый прославленный их автор?
10. «Высокая комедия» Мольера. Жанровое своеобразие.
11. Философское содержание «Потерянного рая» Д. Мильтона.
12. Что такое барокко?
13. Проблематика лирики М. Опица.

Дайте развернутый ответ, проиллюстрировав конкретными примерами.
1. Историческая основа формирования барокко и классицизма.
2. Поэтика Корнеля.
3. Что такое кончетто?
4. Новаторство Лафонтена.
5. Что такое максима? Самый прославленный их автор?

1. Из какого произведения какого автора предложенный отрывок? Ответ обоснуйте.
«Бесстрашие, в твоих сквозящее речах,
Я издавна привык читать в твоих очах;
И, чувствуя в тебе оплот родного края,
Гордился, дочь мою тебе предназначая».

2. Из какого произведения какого автора предложенный отрывок? Ответ обоснуйте.
У Льва жена скончалась.
Тут всякое зверьё
К царю отвсюду собиралось,
Чтоб выразить ему сочувствие свое,
С которым лишь больней утрата.

3. Из какого произведения какого автора предложенный отрывок? Ответ обоснуйте.
Комический поэт, что разумом ведом,
Хранит изящный вкус и здравый смысл в смешном.
Он уважения и похвалы достоин.

4. Из какого произведения какого автора предложенный отрывок? Ответ обоснуйте.
Схожи не во всем
Созданья эти; видимо, присущ

Им разный пол. Для силы сотворен
И мысли – муж, для нежности – жена
И прелести манящей; создан муж
Для Бога только, и жена для Бога,
В своем супруге. Мужа властный взгляд,
Прекрасное, высокое чело
О первенстве бесспорном говорили

4 семестр
Задания для самостоятельной работы

1. С помощью отрывка из главы «Видение Рафаэля» (из книги «Сердечные излияния отшельника-любителя искусств») охарактеризуйте концепцию художественного творчества, развиваемую Вакенродером. Прочитайте отрывок В. А. Жуковского «Рафаэлева “Мадонна”» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «Поэт» и ответьте на вопрос: каким образом миф о Рафаэле, созданный Вакенродером, трансформируется в русской литературе?

Вакенродер В.
Видение Рафаэля
(из книги «Сердечные излияния отшельника-любителя искусств»)

До нас дошло много преданий, писаных и изустных; не одно мудрое слово, принадлежащее великим художникам, передается из уст в уста; как же могло случиться, что эти слова и предания· вызывали лишь равнодушные восторги, но никого не натолкнули на догадку о сущности святая святых искусства, скрытой под ними? Что никто не признал и здесь, как во всей природе, перста Божьего? Что до меня, то я издавна лелеял в себе эту веру; теперь же моя смутная вера просветлела до яснейшего знания. Сколь счастлив я, что избран небом приумножить его славу, найдя убедительное доказательство одного из его непризнанных чудес; мне удалось воздвигнуть еще один алтарь во славу Божию.

Рафаэль, словно солнце, блистающий среди других художников, оставил нам в одном из своих писем к графу Кастильоне слова, которые мне кажутся дороже золота и к которым я ни разу не обратился, не ощутив тайного благоговения и преклонения в своей душе.

«Оттого что дано нам видеть столь мало женской красоты, я всегда обращен к некоему образу, представляемому мною и нисходящему ко мне в душу» («Essendo carestia di belle donne, io mi servo di certa idea che te viene almente».)*, и как же глубока была моя радость, когда мне недавно открылся истинный смысл этих исполненных значения слов. Я просматривал собрание старых рукописей в нашем монастыре, и среди вороха запыленных ненужных пергаментов мне довелось найти несколько листков, исписанных рукой Браманте,- право, ума не приложу, как они сюда попали. На одном из листков было написано то, что я сейчас, не тратя лишних слов, переведу на наш язык: «Для услаждения своей души и дабы точно сохранить это в памяти, я решил записать удивительное происшествие, поведанное мне моим дорогим другом Рафаэлем, которому я поклялся молчать об этом. Когда недавно я от глубины сердца высказал ему свое восхищение по поводу его прекрасных мадонн и изображений святого семейства и стал осаждать его тысячей просьб, чтобы он все же поведал мне, откуда взял эту несравненную красоту, трогательность и непревзойденную выразительность в своих изображениях Пресвятой Девы, то он с при сущей ему юношеской застенчивостью и сдержанностью сначала попытался уйти от ответа, но потом со слезами бросился ко мне на грудь и открыл мне свой секрет. Он рассказал мне, как от самых ранних детских лет носил в себе какое-то

особенное священное чувство к матери божией, так что, стоило ему услышать ее имя, как его душу охватывало томленье. После, когда дух его обратился к живописи, его высшим желанием всегда было изобразить Деву Марию во всем Ее небесном совершенстве, но он все не мог на это решиться. Мысль его постоянно, днем и ночью, работала над изображением; но он никак не мог завершить его так, чтобы почувствовать удовлетворение; он все время ощущал, будто его фантазия как бы движется ощупью. И все же порой словно бы луч света падал с небес ему в душу, так что он видел перед собой отчетливо черты образа, как он того и хотел; однако это длилось всего мгновение, и он не мог удержать этот образ в своей душе. И так душа его томилась в постоянном беспокойстве; черты Пресвятой Девы порой лишь мелькали перед ним, и его смутное предчувствие никак не могло вылиться в ясную, отчетливую картину. Наконец, не в силах более себя сдерживать, трепетной рукой он стал писать образ Пресвятой Девы; и во время работы все более и более воспламенялось его сердце. Однажды ночью, когда он, как бывало уже не раз, во сне молился .пресвятой деве, он вдруг пробудился со стесненным сердцем. В ночной тьме его взгляд был привлечен сияньем на стене, как раз насупротив его ложа, и когда он вгляделся, то увидел, что это светится нежнейшим светом его незавершенное изображение Мадонны, висящее на стене, и что оно стало совершенно законченной и исполненной жизни картиной. Божественность ее лица так поразила его, что он разразился светлыми слезами. Она смотрела на него взглядом, неописуемо трогающим душу, и, казалось, вот-вот шевельнется; и ему почудилось, что она точно шевельнул ась. Более всего изумило его, что это был как раз тот самый образ, которого он все время искал, хотя до сих пор имел о нем всего лишь смутное и неясное предчувствие. Рафаэль не помнит, как снова овладел им сон. На следующее утро он проснулся как бы вновь рожденным на свет; видение навеки четко запечатлелось в его душе, и теперь ему удавалось всегда изображать Матерь Божию такой, какою Она виделась его внутреннему взору, и сам он с тех пор смотрел на собственные картины с благоговением.

Вот что рассказал мне дорогой мой друг Рафаэль, и я счел это чудо столь замечательным и столь важным, что решил записать его для услаждения собственного духа».

Таково содержание бесценного листка, попавшего ко мне в руки. И теперь становится понятно, что имел в виду божественный Рафаэль, когда говорил: «Я обращен к некоему образу, представляемому мною и нисходящему ко мне в душу».

Теперь, узнав об этом явном чуде божьего всемогущества, поймут ли, что в этих простых словах невинного душой Рафаэля высказан великий и глубокий смысл? Неужели не поймут наконец, сколь кощунственна вся невежественная болтовня о вдохновении художника, не убедятся, что здесь речь идет не о чем ином, как о непосредственной помощи свыше?

Жуковский В. А.

Рафаэлева «Мадонна» *(Из письма о Дрезденской галерее)*

Я смотрел на нее несколько раз; но видел ее только однажды так, как мне было надобно. В первое мое посещение я даже не захотел подойти к ней; я увидел ее издали, увидел, что пред нею торчала какая-то фигурка, с пудреною головою, что эта проклятая фигурка еще держала в своей дерзкой руке кисть и беспощадно ругалась над великою душою Рафаэля, которая вся в этом чудесном творении. В другой раз испугал меня чичероне галереи (который за червонец показывает путешественникам картины и к которому я не рассудил прибегнуть): он стоял пред нею с своими слушателями и, как попугай, болтал вытверженный наизусть вздор. Наконец однажды, только было я расположился дать волю глазам и душе, подошла ко мне одна моя знакомка и принялась мне нашептывать на ухо, что она перед «Мадонною» видела Наполеона и что ее дочери похожи на Рафаэлевых ангелов. Я решился прийти в галерею как можно ранее, чтобы предупредить всех посетителей. Это удалось. Я сел на софу против картины и просидел

целый час, смотря на нее. Надобно признаться, что здесь поступают с нею так же непочтительно, как и со всеми другими картинами. Во-первых, она, не знаю для какой готтентотской причины, уменьшена: верхняя часть полотна, на котором она написана, и с нею верхняя часть занавеса, изображенного на картине, загнуты назад; следовательно, и пропорция и самое действие целого теперь уничтожены и не отвечают намерению живописца. Второе, она вся в пятнах, не вычищена, худо поставлена, так что сначала можешь подумать, что копии, с нее сделанные, чистые и блестящие, лучше самого оригинала. Наконец (что не менее досадно), она, так сказать, теряется между другими картинами, которые, окружая ее, развлекают внимание: например, рядом с нею стоит портрет сатирического поэта Аретина, Тициановъ, прекрасный – но какое соседство для "Мадонны"! И такова сила той души, которая дышит и вечно будет дышать в этом божественном создании, что все окружающее пропадает, как скоро посмотришь на нее со вниманием. Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не знал, что на нем будет: вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслию о Мадонне, и верно какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил: *она здесь!* – закричал он, указав на полотно, и начертил первый рисунок. И в самом деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-то неестественное происходит (особливо, если смотришь так, что ни рамы, ни других картин не видишь). И это не обман воображения: оно не обольщено здесь ни живостию красок, ни блеском наружным. Здесь душа живописца, без всяких хитростей искусства, но с удивительною простотою и легкостию, передала холстине то чудо, которое во внутренности ее совершилось. Я описываю ее вам, как совершенно для вас неизвестную. Вы не имеете о ней никакого понятия, видевши ее только в списках или в Миллеровом эстампе. Не видав оригинала, я хотел купить себе в Дрездене этот эстамп; но, увидев, не захотел и посмотреть на него: он, можно сказать, оскорбляет святыню воспоминания. Час, который провел я перед этою "Мадонною", принадлежит к счастливым часам жизни, если счастием должно почитать наслаждение самим собою. Я был один; вокруг меня все было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. *Гений чистой красоты* был с нею:

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам
И приносит откровенья,
Благодатные сердцам.
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой;
А когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное; пред глазами полотно, на нем липа, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неограниченно! И точно, приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздернулся, и тайна неба открылась глазам человека. Все происходит на небе: оно кажется пустым и как будто туманным, но это не пустота и не туман, а какой-то тихий, неестественный свет, полный ангелами, которых присутствие более чувствуешь, нежели замечаешь: можно сказать, что все, и самый воздух, обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей девы. И Рафаэль прекрасно подписал свое имя на картине: внизу ее, с границы земли, один из двух

ангелов устремил задумчивые глаза в высоту; важная, глубокая мысль царствует на младенческом лице – не таков ли был и Рафаэль в то время, когда он думал о своей Мадонне? Будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной. И как мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто такое, чего нельзя истощить мыслию! Он писал не для глаз, все обнимающих во мгновение и на мгновение, но для души, которая чем более ищет, тем более находит. В богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения *понятного,* имеющего *определенное имя;* но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного; а для нее уже нет случая – все совершилось); но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное. Она не поддерживает младенца; но руки ее смиренно и свободно служат ему престолом: и в самом деле, эта богоматерь есть не иное что, как одушевленный престол божий, чувствующий величие сидящего. И он, как царь земли и неба, сидит на этом престоле. И в его глазах есть тот же никуда не устремленный взор; но эти глаза блистают как молнии, блистают тем вечным блеском, которого ничто не произвести, не изменить не может. Одна рука младенца с могуществом вседержителя оперлась на колено, другая как будто готова подняться и простереться над небом и землею. Те, перед которыми совершается это видение, св. Сикст и мученица Варвара, стоят также на небесах: на земле этого не увидишь. Старик не в восторге: он полон обожания мирного и счастливого, как святость; святая Варвара очаровательна своею красотою: великость того явления, которого она свидетель, дала и ее стану какое-то разительное величие: но красота лица ее человеческая, именно потому, что на нем уже есть выражение *понятное:* она в глубоком *размышлении;* она глядит на одного из ангелов, с которым как будто делится таинством мысли. И в этом нахожу я главную красоту Рафаэля картины (если слово *картина* здесь у места). Когда бы живописец представил обыкновенного человека зрителем того, что на картине его видят одни ангелы и святые, он или дал бы лицу его выражение изумленного восторга (ибо восторг есть чувство здешнее: оно на минуту, быстро и неожиданно отрывает нас от земного), или представил бы его падшего на землю с признанием своего бессилия и ничтожества. Но состояние души, уже покинувшей землю и достойной неба, есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное и просвещенное мыслию, постигнувшею тайны неба, безмолвное, неизменяемое счастие, которое все заключается в двух словах: *чувствую* и *знаю!* И эта-то блаженствующая мысль царствует на всех лицах Рафаэлевой картины (кроме, разумеется, лица Спасителева и Мадонны): все в размышлении, и святые и ангелы. Рафаэль как будто хотел изобразить для глаз верховное назначение души человеческой. Один только предмет напоминает в картине его о земле: это Сикстова тиара, покинутая на границе здешнего света. – Вот то, что думал я в те счастливые минуты, которые провел перед "Мадонною"-Рафаэля. Какую душу надлежало иметь, чтобы произвести подобное! Бедный Миллер! Он умер, сказывали мне, в доме сумасшедших. Удивительно ли? Он сравнил свое подражание с оригиналом, и мысль, что он не понял великого, что он его обезобразил, что оно для него недостижимо, убила его. И в самом деле, надобно быть или безрассудным, или просто механическим маляром без души, чтобы осмелиться списывать эту «Мадонну»: один раз душе человеческой было подобное откровение; дважды случиться оно не может.

Лермонтов М. Ю.
Поэт

Когда Рафаэль вдохновенный
Пречистой Девы лик священный
Живою кистью окончал:
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой
Он забывал огонь небесный.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Всё тише, и призрак бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.

2. Прочитайте выдержки из «Критических фрагментов» Ф. Шлегеля. Охарактеризуйте его концепцию романтической иронии. С помощью анализа отрывка из комедии Л. Тика «Кот в сапогах» покажите, с помощью каких художественных приемов эта концепция реализуется на практике.

Шлегель Ф. Критические фрагменты

42. Философия—это подлинная родина иронии, которую можно было бы назвать логической красотой. Ибо везде, где в устных или письменных беседах философствуют не вполне систематически, следует поощрять иронию; даже стоики считали культуру (Urbanitat) добродетелью. Правда, существует и риторическая ирония, при осторожном употреблении оказывающая превосходное воздействие, особенно в полемике. Однако в сравнении с возвышенной культурой сократовской музы она то же, что великолепие блестящей художественной речи в сравнении с древней трагедией высокого стиля. Только поэзия и с этой стороны может возвыситься до философии, и она не основывается на иронических эпизодах, подобно риторике. Существуют древние и, новые поэтические создания, всецело проникнутые божественным дыханием иронии. В них живет подлинно трансцендентальная буффонада. С внутренней стороны — это настроение, оглядывающее все с высоты и бесконечно возвышающееся над всем обусловленным, в том числе и над собственным искусством, добродетелью или гениальностью; с внешней стороны, по исполнению — это мимическая манера обыкновенного хорошего итальянского буффо. Римляне ближе и понятнее нам, чем греки. И все же подлинное понимание римлян встречается несравненно реже, чем понимание греков, потому что синтетических натур меньше, чем аналитических. Ибо существует особое понимание наций, понимание исторических и моральных индивидов, а не только практических сфер, искусств или наук.

48. Ирония — форма парадоксального. Парадоксально все хорошее и великое одновременно.

108. Сократовская ирония — единственное вполне непроизвольное и вместе с тем вполне обдуманное притворство (Verstellung). Одинаково невозможно как измыслить

ее искусственно, так и изменить ей. У кого ее нет, для того и после самого откровенного признания она останется загадкой. Она никого не должна вводить в заблуждение, кроме тех, кто считает ее иллюзией и либо радуется этому великолепному лукавству, подсмеивающемуся над всем миром, либо злится, подозревая, что и его имеют при этом в виду. В ней все должно быть шуткой и все всерьез, все чистосердечно откровенным и все глубоко сокрытым. Она возникает, когда соединяются понимание искусства жизни и научный дух, совпадают законченная философия природы и законченная философия искусства. Она содержит и пробуждает чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным, между невозможностью и необходимостью исчерпывающей полноты высказывания. Она самая свободная из всех вольностей, ибо благодаря ей можно возвыситься над самим собой, и в то же время самая закономерная, ибо она безусловно необходима. Весьма хороший знак, что гармоническая банальность не знает, как ей отнестись к этому постоянному самопародированию, когда вновь и вновь нужно то верить, то не верить, пока у нее не закружится голова и она не станет принимать шутку всерьез, а серьезное считать шуткой. Ирония у Лессинга — инстинкт, у Гемстергейса — классическая штудия, у Хюльзена возникает из философии философии и может намного превзойти иронию тех обоих.

Тик Л.
Кот в сапогах

ПРОЛОГ

Действие происходит в партере; горят огни, музыканты сидят наготове в оркестровой яме. Комедия уже полна, все оживленно переговариваются друг с другом, здороваются с новоприбывшими и т. д.

Фишер, Мюллер, Шлоссер, Беттихер.

Фишер. Все-таки интересно... Господин Мюллер, что вы скажете о сегодняшней пьесе?

Мюллер. Скажу по чести – я-то думал, что скорее мир перевернется, чем у нас поставят такую пьесу.

Фишер. Так вы ее знаете?

Мюллер. Ни боже мой! Но одно заглавие чего стоит: «Кот в сапогах». Вот уж не предполагал, что на театре начнут играть детские прибаутки.

Шлоссер. Так это еще и опера?

Фишер. Ничего подобного. На афише стоит: «Детская сказка».

Шлоссер. Детская сказка? Помилуйте – разве мы дети, чтобы нам показывали сказки? Не выведут же они на сцену настоящего кота?

Фишер. Это, конечно, подражание «Новой Аркадии» – Теркалеон и все прочее...

Мюллер. А что? Это было бы совсем недурно. Я уж давно мечтаю посмотреть хоть разок такую вот прекрасную оперу без музыки.

Фишер. Без музыки – это пошло, друг мой, ибо с подобным ребячеством, с подобными суевериями мы давно покончили – просвещение принесло свои плоды.

Мюллер. Скорее всего, это обыкновенная мещанская драма из семейной жизни, а с котом – всего лишь невинная шалость, этакая, знаете ли, шутка, – для затравки, если можно так выразиться.

Шлоссер. Попомните мое слово – это наверняка прием, трюк, чтобы в форме намеков подсунуть людям всякие идейки. Вот увидите, прав я был или не прав. Это пьеса о революции, насколько я понимаю.

Фишер. Я тоже так думаю. Иначе это было бы просто издевательством над хорошим вкусом. Во всяком случае, что касается меня, то я никогда не верил ни в ведьм, ни в привидения, ни уж тем более в Кота в сапогах.

Шлоссер. Да, век нынче не тот. Фантомам в нем нет места. О, вон идет Лейтнер – может, он нам расскажет поподробнее.

Между рядами протискивается Лейтнер.

Лейтнер. Здравствуйте, здравствуйте! Ну как дела?

Мюллер. Скажите, ради бога, что вы слыхали об этой пьесе?

Начинается музыка.

Лейтнер. Уже так поздно? Я, значит, поспел как раз вовремя... Об этой пьесе? Я только что разговаривал с поэтом, он за сценой помогает одевать кота.

Голоса (со *всех сторон).* Помогает?

– Поэт?

– Кота?

– Значит, кот все-таки будет?

Лейтнер. Ну конечно. Он и в афишке обозначен.

Фишер. А кто же его играет?

Лейтнер. О, приезжий актер. Великий человек.

Мюллер. Да? Но как же можно такое играть?

Лейтнер. Поэт считает, что для разнообразия...

Фишер. Хорошенькое разнообразие! Тогда отчего бы не играть и «Синюю Бороду», и «Принца-домового»? Ведь сколько еще таких сногсшибательных сюжетов для драм!

Мюллер. А как же они оденут кота? И сапоги – они что, будут настоящие?

Лейтнер. Да мне это не меньше вашего интересно узнать.

Фишер. Но неужели мы так и позволим разыгрывать перед нами подобную чепуху? Мы, конечно, пришли сюда из любопытства, но у нас все-таки есть вкус.

Мюллер. У меня ноги чешутся потопать.

Лейтнер. К тому же и холодновато тут... Я начну. *(Топает.)*

Остальные аккомпанируют.

Беттихер (с *другого конца ряда).* Из-за чего топают?

Лейтнер. Спасаем хороший вкус.

Беттихер. О, я тоже не хочу отставать. *(Топает.)*

Голоса. Тихо вы! Музыки совсем не слышно.

Общий продолжительный топот в зале.

Шлоссер. Но надо бы все-таки сначала посмотреть пьесу – как-никак деньги заплачены. А потом уж так потопаем, что стены задрожат.

Все. Нет, сейчас, сейчас!

– Вкус!

– Правила!

– Искусство!

– Иначе всему крышка!

Ламповщик. Господа, неужели надо звать полицию?

Лейтнер. Мы заплатили за билеты, мы составляем публику, и нам подавай представление на уровне нашего хорошего вкуса, а не какой-то там балаган.

Поэт (высовываясь из-за кулис). Пьеса сию минуту начнется.

Мюллер. Никаких пьес! Не нужна нам твоя пьеса – нам нужен хороший вкус.

Все. Вкус! Вкус!

Поэт. Я *в* смущении... Что вы имеете в виду?

Шлоссер. Вкус! Вы поэт, а даже не знаете, что такое вкус?

Поэт. Но вы должны принять во внимание, что здесь молодой, начинающий...

Шлоссер. Никаких начинающих! Хотим приличную пьесу! Пьесу со вкусом!

Поэт. Какого же рода? Какого колорита?

Мюллер. Семейные драмы, похищения, «Сельские дети» – вот какого!

Поэт (выходит из-за кулис). Господа...

Все. Это что, поэт?

Фишер. Непохож.

Шлоссер. Умник.

Мюллер. Даже волосы не стрижены.

Поэт. Господа, простите мою дерзость...

Фишер. Как вы можете писать такие пьесы? Почему вы не удосужились повысить свое образование?

Поэт. Уделите мне только минуту внимания, прежде чем разносить. Я знаю, почтеннейшая публика вправе судить поэта, и ваш приговор обжалованию не подлежит, но я знаю также, как любит почтеннейшая публика справедливость, и уверен, что она не станет угрозами сталкивать меня со стези, на коей я так нуждаюсь в ее благосклонном руководстве.

Фишер. А говорит он складно.

Мюллер. Он вежливей, чем я ожидал.

Шлоссер. И публику уважает.

Поэт. Мне стыдно представлять плод вдохновения моей музы на суд столь просвещенных ценителей, и лишь искусство наших актеров до некоторой степени утешает меня, иначе бы я без лишних слов погрузился в бездну отчаяния.

Фишер. Мне его жалко.

Мюллер. Хороший парень!

Поэт. Когда я внимал вашему топоту – о, ничто еще не приводило меня в такой трепет, я еще бледен, и дрожу, и сам не понимаю, откуда я вообще набрался смелости предстать перед вами.

Лейтнер. Да хлопайте же!

Все хлопают.

Поэт. Я всего лишь попытался развлечь вас шуткой – если она мне удалась, – развеселить настоящим фарсом, ибо новейшие пьесы дают нам мало поводов для смеха.

Мюллер. Да уж что верно, то верно!

Лейтнер. А парень-то дело говорит!

Шлоссер. Браво! Браво!

Все хлопают.

Поэт. Итак, почтеннейшие, теперь решайте, так ли уж достойна моя пьеса совершенного презрения, - засим я с трепетом удаляюсь, а пьеса начинается. *(Отвешивает почтительный поклон и скрывается за кулисами.)*

Все. Браво! Браво!

Голос с галерки. Бис!

Все хохочут. Музыка вступает снова, и занавес поднимается.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Маленькая комнатка в крестьянской избе.

Лоренц, *Бартель*, *Готлиб*. Кот *Гинц* лежит на скамейке у печки.

Лоренц. Я полагаю, что пора нам разделить скромное имущество, оставшееся после кончины отца. Вы знаете, что незабвенный родитель, царство ему небесное, оставил всего три мало-мальски стоящие движимости – лошадь, быка и вон того кота. Я, как старший, заберу себе лошадь; Бартель, средний из нас, получит быка, ну а младшему братцу, само собой, отходит кот.

Лейтнер (в партере). О господи! Ну виданное ли дело – такая экспозиция! Подумать только, до чего докатилось драматическое искусство!

Мюллер. Но я все очень хорошо понял.

Лейтнер. Да в том-то как раз и просчет! Нужно все подавать зрителю намеком, исподволь, а не бухать прямо в лоб.

Мюллер. Но зато уж теперь сразу понятно, что к чему.

Лейтнер. А вот так сразу-то и не должно быть понятно; надо, чтобы ты вникал постепенно, – это и есть самый смак.

Бартель. Надеюсь, братец Готлиб, ты на нас не в обиде; к сожалению, ты самый младший, и какие-то привилегии за нами ты должен признать.

Готлиб. Да уж, верно, так.

Шлоссер. А почему же в раздел имущества не вмешается суд? Какие несообразности!

Лоренц. Ну так мы пошли, дорогой Готлиб, будь здоров, не скучай.

Готлиб. Адье.

Братья уходят. *Готлиб* остается один. Монолог.

Они ушли – и я один. У каждого из нас есть свой домишко. Лоренц будет на своей лошади пахать землю, Бартель зарежет своего быка, посолит и на первых порах перебьется. А что мне, бедному и несчастному, делать со своим котом? Разве что связать из его шерсти муфту на зиму – но, кажется, он сейчас как раз облезает. Вон он – спит себе и в ус не дует. О, бедный Гинц! Придется нам скоро расстаться. А жаль. Я его взрастил, я знаю его, как себя самого. Но он поймет – у меня в самом деле нет выхода, придется его продать. А теперь он проснулся и смотрит на меня так, будто все понимает. Кажется, я вот-вот разревусь. *(Ходит в задумчивости взад и вперед по комнате.)*

Мюллер. Ну что, видите? Это будет трогательная семейная драма. Крестьянин сидит без гроша, от крайней нужды он продаст свою верную животину какой-нибудь чувствительной барышне и тем проложит дорогу к своему будущему счастью. Это, видать, подражание «Попугаю» господина Коцебу – из птицы сделали кота, а уж дальше пьеса сама слепится.

Фишер. Ну что же – раз так, и то хорошо.

Гинц (встает, потягивается, выгибает спину горбом, зевает; потом вдруг начинает говорить). Дорогой мой Готлиб, на тебя просто жалко смотреть.

Готлиб (в изумлении). Как, кот, ты говоришь?!

Критики (в партере). Кот говорит?! Это что за новость?

Фишер. Да, тут уж вся сценическая иллюзия насмарку.

Мюллер. Я лучше зарекусь больше ходить на пьесы, чем терпеть такое шарлатанство.

Гинц. А почему бы мне и не говорить, Готлиб?

Готлиб. Вот уж не думал! В жизни не слыхал, чтобы кошки разговаривали.

Гинц. Ты, как и все люди, просто полагаешь, что, раз мы не встреваем вечно в разговор, мы все равно что собаки.

Готлиб. Я-то думал, вы только и знаете, что мышей ловить.

Гинц. Если бы общение с людьми не внушило нам отвращения к языку, мы бы еще как говорили.

Готлиб. Да уж что верно, то верно! Но зачем вы так ловко это скрываете?

Гинц. Чтобы не брать на себя лишней ответственности. Если бы нам, так называемым зверям, вдалбливали еще и язык, никакой бы радости от жизни не оставалось. Возьми собаку – чего только ей не приходится делать и учить! А лошадь! Это глупые звери, потому что они не умеют скрывать свой ум. Жертвы тщеславия. А мы, кошки, все еще самое свободное племя – потому что при всей нашей понятливости мы прикидываемся такими непонятливыми, что человек даже и не пытается нас воспитывать.

Готлиб. А почему ты мне это все выкладываешь?

Гинц. Потому что ты добрый, благородный человек, один из тех немногих людей, кому не доставляет удовольствия видеть пресмыкательство и рабство. Вот потому я и раскрыл перед тобой душу.

Готлиб (протягивая ему руку). О верный друг!

Гинц. Люди по наивности считают в нас единственно привлекательным то инстинктивное мурлыканье, которое происходит от известного ублажения чувств; и вот они без конца гладят нас, причем весьма неумело, а мы морочим им голову своим урчанием, только чтобы не нарваться на колотушки. Но сумей они найти к нам должный подход, они, поверь мне, смогли бы приучить нашу покладистую натуру к чему угодно; вот, например, Михель, соседский кот, иной раз снисходит до того, что на потеху королю прыгает сквозь обруч от пивной бочки.

Готлиб. И то правда.

Гинц. Я тебя, Готлиб, очень люблю. Ты никогда не гладил меня против шерсти, не тормошил меня без дела, когда мне хотелось спать, не позволял своим братьям утаскивать меня в темный чулан, чтобы наблюдать там так называемые электрические разряды. За все это я хочу тебя отблагодарить.

Готлиб. Благородный Гинц! О, как не правы люди, хулящие вас, сомневающиеся в вашей верности и преданности! Пелена спала с моих глаз! Сколь возросло мое знание человеческой натуры!

Фишер. Ну что, друзья? Прощай надежда на семейную драму!

Лейтнер. Да, это уж черт знает что такое.

Шлоссер. Я просто как во сне.

Гинц. Ты хороший парень, Готлиб, но, не в обиду тебе будь сказано, ограничен ты, простоват, – в общем, если уж честно говорить – не сосуд духа.

Готлиб. Да уж какой там сосуд!

Гинц. Вот ты, к примеру, не знаешь, что тебе сейчас делать.

Готлиб. Ох не знаю, не знаю.

Гинц. Даже если бы ты сделал себе муфту из моего меха...

Готлиб. Уж не прогневайся, дружище, что пришла в мою глупую голову эта мысль.

Гинц. Да чего там, по-человечески это вполне понятно. Итак, ты не видишь выхода?

Готлиб. Никакого!

Гинц. Ты мог бы ходить со мной по деревням и показывать меня за деньги – но это все-таки очень непрочное положение.

Готлиб. Непрочное.

Гинц. Ты мог бы начать издавать журнал или газету для немцев под лозунгом «Homo sum», или накатать роман, а я бы стал твоим соавтором, – но это все очень хлопотно.

Готлиб. Хлопотно.

Гинц. Нет, я уж о тебе как следует позабочусь. Будь спокоен – я тебе обеспечу полное счастье.

Готлиб. О лучший, благороднейший из людей! *(Нежно обнимает его.)*

Гинц. Но ты должен во всем мне доверять.

Готлиб. Абсолютно! Я же знаю теперь твою честную душу!

Гинц. Ну, тогда сделай мне одолжение и сразу же сбегай позови сапожника, чтобы он стачал мне пару сапог.

Готлиб. Сапожника? Пару сапог?!

Гинц. Ты удивляешься, а мне в связи с тем, что я задумал для тебя сделать, предстоит такая беготня, что сапоги позарез нужны.

Готлиб. Но почему не туфли?

Гинц. Готлиб, ты просто не понимаешь – мне это нужно для солидности, для импозантности, – короче говоря, чтобы придать себе известную мужественность. А в туфлях ее до седых волос не приобретешь.

Готлиб. Ну как хочешь, – только ведь сапожник очень удивится.

Гинц. Вовсе не удивится. Главное – сделать вид, будто мое желание ходить в сапогах – самое обычное дело. Люди ко всему привыкают.

Готлиб. Это уж точно. Ведь я вот беседую с тобой – и будто так и надо. О, да вон и сапожник как раз идет. Эй! Эй! Кум Мозоллер! Не заглянете ли на минутку?

Входит сапожник.

Сапожник. Желаю здравствовать! Что новенького?

Готлиб. Давненько я ничего у вас не заказывал...

Сапожник. И впрямь, любезный кум. Сижу без дела.

Готлиб. Вот я и подумал – а не заказать ли пару сапог...

Сапожник. Что ж, тогда садитесь. Сразу и мерку снимем.

Готлиб. Это не для меня – вот для моего юного друга.

Сапожник. Для этого? Можно.

Гинц садится на стул и протягивает правую лапу.

Сапожник. Какие изволите, мусью?

Гинц. Первым делом – на хороших подошвах. Отвороты – коричневые, и главное – чтобы с твердыми голенищами, не в гармошку.

Сапожник. Хорошо. *(Снижает мерку.)* Не будете ли так любезны несколько втянуть коготки – или ноготки, – а то я уже оцарапался. *(Снимает мерку.)*

Гинц. И поживей, милейший. *(Так как его гладят по лапам, он непроизвольно начинает мурлыкать.)*

Сапожник. Мусью в отличном настроении.

Готлиб. Да, он весельчак. Только что из школы. Как говорится, сорвиголова.

Сапожник. Ну, а затем адье. *(Уходит.)*

Готлиб. А усы ты не хочешь подстричь?

Гинц . Боже упаси. Так у меня вид намного почтенней. Ты ведь знаешь, что без усов мы утрачиваем всякую мужественность. Кот без усов – презренная тварь.

Готлиб. И что ты только задумал?

Гинц. Погоди, увидишь. А пока я пойду прогуляюсь по крышам. Оттуда прелестный вид, да к тому же и голубку надеюсь сцапать.

Готлиб. Предупреждаю по-дружески: смотри, как бы тебя самого кто не сцапал.

Гинц. Не беспокойся, я не новичок. Адье. *(Уходит.)*

Готлиб. В естественной истории всегда пишут, что кошкам нельзя доверять, что они родня львам, а львов я боюсь до смерти. Вот если у моего кота нет совести, он может удрать вместе с сапогами, за которые я заплатил последний грош, или подлизаться к сапожнику и поступить к нему в услужение. Впрочем, у того уже есть кот. О нет, Гинц, братья меня надули, и я попробую довериться тебе. Он говорил так благородно, был так растроган... Вон он сидит на крыше и расчесывает усы... Прости, достойный друг, что я хоть на секунду мог усомниться в возвышенности твоего образа мыслей. *(Уходит.)*

Фишер. Что за бред!

Мюллер. На черта коту сапоги? Чтобы удобно было ходить? Какая чушь!

Шлоссер. Но все-таки кот у меня перед глазами как живой!

Лейтнер. Тише, новая сцена!

Зала в королевском дворце.
Король в короне и со скипетром. *Принцесса*, его дочь.

Король. Уже не менее тысячи юных принцев сватались к тебе, дражайшая дочь, и слагали к твоим ногам свои королевства, но ты не удостаивала их ни малейшим вниманием. Скажи нам, в чем причина, бриллиантовая моя?

Принцесса. О всемилостивейший отец и повелитель, я всегда полагала, что мое сердце должно сначала проявить свои склонности, прежде чем я склоню выю под ярмо супружества. Ведь, как утверждают, брак без любви – это сущий ад на земле.

Король. Именно так, любезная дочь. Ах, сколь верное слово ты сказала: ад на земле! О, если бы мог я тебе возразить! Если бы суждено мне было остаться в неведенье! Но увы, алмазная моя, мне ли, как говорится, этого не знать! Твоя мамаша, блаженной памяти покойная супруга моя, – ах, принцесса, ты видишь, еще и на склоне лет своих я не могу сдержать горючих слез, – она была хорошей королевой, носила корону с неподражаемым достоинством, – но меня она редко оставляла в покое! Ну, да покоится прах ее в мире рядом с ее царственной родней.

Принцесса. Вы слишком волнуетесь, ваше величество, вам это вредно.

Король. Как только вспомню – ах, дитя мое, как только вспомню, я готов на коленях умолять тебя: будь осмотрительней с женихом! Истинно, истинно говорят: ни жениха, ни полотна не испытаешь средь бела дня! Прописать бы во всех книжках эту истину! Уж как я перестрадал! Ни дня без свары, ночью не заснешь, днем делами не займешься, ни тебе о чем-нибудь подумать спокойно, ни книжку почитать – всегда перебивала. А вот все-таки, незабвенная Клотильда, иной раз томится моя душа по тебе, томится аж до слез, – вот какой я старый дурак.

Принцесса (ласково). Ну полно, папенька, полно!

Король. Дрожь берет, как подумаю об опасностях, которые тебе грозят! Ведь даже если ты и влюбишься, дочь моя, – ах, видала бы ты, какие толстые книжки написаны об этом мудрыми людьми! – то сама твоя страсть опять же может сделать тебя несчастной. Самое счастливое, самое блаженное чувство способно уничтожить нас; любовь – она как стакан у фокусника: вместо нектара тебе подсунут яд, и вот уж ложе твое омочено слезами, и прощай, всякая надежда, всякое утешение.

Трубят в рожок.

Король. Неужто уже к обеду пора? Да нет, это, верно, очередной принц жаждет в тебя влюбиться. Будь начеку, дочь моя, ты единственное мое чадо, и ты представить себе не можешь, как дорого мне твое счастье. *(Уходит.)*

В партере хлопают.

Фишер. Вот наконец-то сцена, в которой есть здравый смысл.

Шлоссер. Меня она тоже тронула.

Мюллер. Какой великолепный король!

Фишер. Зря только он в короне выступает.

Шлоссер. Да, это разрушает впечатление от него как любящего отца.

Принцесса (оставшись одна). Не понимаю, почему ни один из принцев до сих пор не заронил любовь в мое сердце. Предостережения отца моего постоянно звучат у меня в ушах, он могучий король и в то же время хороший отец, он неустанно думает о моем счастье. Вот только если бы не эти внезапные вспышки отчаяния! Но счастье всегда идет рука об руку с горем. Единственная моя отрада – науки и искусства, все мое счастье – в книгах.

Входит *Леандр*, придворный ученый.

Леандр. Итак, ваше королевское высочество?

Оба садятся.

Принцесса. Вот, господин Леандр, моя проба пера. Я озаглавила ее «Ночные мысли».

Леандр (пробегая глазами начало). Великолепно! Как оригинально! Ах, мне так и слышится, будто бьет полуночный час! Когда вы это написали?

Принцесса. Вчера днем, после обеда.

Леандр. Какая глубина мысли!.. Только, с вашего высочайшего позволения: «Луна облевает землю печальным светом», – если вы соизволите благосклонно пометить, то тут надобно сказать: «обливает».

Принцесса. Ну хорошо, хорошо, впредь постараюсь запомнить. Ужас как трудно сочинять поэзию. Пяти строчек не напишешь без ошибки.

Леандр. Да, это все причуды языка.

Принцесса. А разве чувства переданы не тонко и нежно?

Леандр. Неподражаемо! Просто уму непостижимо, как такое могло родиться в женском мозгу!

Принцесса. А теперь я хочу попытать себя в ночных сценах на лоне природы. Как вы думаете?

Леандр. О, вы движетесь все дальше, все выше!

Принцесса. Я еще и пьесу начала – «Несчастный мизантроп, или Утраченное спокойствие и обретенная невинность»!

Леандр. Уже одно заглавие восхитительно!

Принцесса. И потом – я ощущаю в себе неодолимый порыв написать какую-нибудь жуткую историю с привидениями. Но, как я уже говорила, – если бы не эти грамматические ошибки!

Леандр. Не печальтесь о них, несравненная! Их легко вычеркнуть.

Входит камердинер.

Камердинер. Прибыл принц Мальсинкский и просит позволения нанести визит вашему королевскому высочеству. *(Уходит.)*

Леандр. Я откланиваюсь. *(Уходит.)*

Входят принц Натанаэль Мальсинкский и *король*.

Король. Вот, принц, моя дочь, юное бесхитростное существо, как видите. *(Принцессе, тихо.)* Пообходительней с ним, повежливей, дочь моя! Принц видный, прибыл издалека, его страна даже не обозначена на моей карте, я уже посмотрел. Он внушает мне удивительное почтение.

Принцесса. Очень рада иметь удовольствие с вами познакомиться.

Натанаэль. Прекрасная принцесса, слава о вашей красоте столь широко разнеслась по свету, что я приехал из отдаленнейшего его уголка, дабы иметь счастье лицезреть вас лицом к лицу.

Король. Просто поразительно, сколько есть на свете всяких стран и королевств! Вы не поверите, сколько тысяч наследных принцев уже перебывало у нас, чтобы посвататься к моей дочушке! Иной раз валили просто дюжинами, особенно в ясную погоду. И прибывали даже из... вы уж простите меня, топография наука обширная... А в каких краях лежит ваша страна?

Натанаэль. Всемогущий король, если вы, отправившись отсюда, спуститесь сначала вниз по проселочной дороге, потом свернете направо, а когда доедете до горы, то заберете влево и, доехав до моря, поплывете все время прямо, – если, конечно, будет попутный ветер, – то через полтора года, если путешествие пройдет благополучно, вы прибудете прямо в мое королевство.

Король. Мать честная! Это мне еще придется просить придворного ученого, чтобы он растолковал!.. Вы, верно, живете по соседству с северным полюсом или с зодиаком?

Натанаэль. Про таких я не слыхал.

Король. А может, это ближе к дикарям?

Натанаэль. Прошу прощения, но мои подданные все очень смирные.

Король. Однако ж это все равно где-то у черта на куличках? Никак не могу взять в толк.

Натанаэль. Пока еще у моей страны нет точной географии. Я каждый день надеюсь открыть какой-нибудь новый уголок, и легко может статься, что в конце концов мы окажемся соседями.

Король. Ах, это было бы чудесно! А если по дороге попадется парочка новых стран, я еще и помогу вам их открыть. Мой нынешний сосед не столь мне хороший друг, а страна у него отменная, весь изюм поступает оттуда, – хорошо бы ее заполучить... Но еще одно, – скажите, ради бога, – вот вы живете так далеко, а отчего же вы так бойко говорите на нашем языке?

Натанаэль. Тише!

Король. Что – тише?

Натанаэль . Да тише вы!

Король. Не понимаю.

Натанаэль (тихо, королю). Ну, не кричите об этом! Иначе публика в конце концов заметит, что это и впрямь не очень естественно.

Король. А плевать! Она только что хлопала, и тут уж мы можем себе кое-что позволить.

Натанаэль. Видите ли, это все в интересах пьесы. Не говори я на вашем языке – она будет непонятной.

Король. Ах вот что! Ну что ж, принц, прошу к столу, кушать подано!

Принц ведет к столу принцессу, – король идет впереди.

Фишер. Черт побери! Сколько несообразностей в этой пьесе!

Шлоссер. И король совершенно выпадает из роли.

Лейтнер. На театре надо все изображать естественно. Принц должен говорить на своем иностранном языке и иметь при себе толмача, принцесса должна говорить с ошибками, раз уж она сама сознается, что не умеет правильно писать.

Мюллер. Конечно! Конечно! Все это сплошная чушь! Поэт сам не помнит, что говорил секунду назад.

Перед трактиром.

Лоренц, *Кунц* и *Михель* сидят на скамейке. Перед ними – *трактирщик*.

Лоренц. Пора мне собираться в путь. До дома еще далеко.

Трактирщик. Вы на королевской службе?

Лоренц. Так точно. А кто у вас герцогом?

Трактирщик. Да люди просто говорят «господское отродье» – и все тут.

Лоренц. Чудной какой титул. А что, собственного имени у него нет?

Трактирщик. Когда он издает указы, в начале всегда говорится: «Для блага публики Закон устанавливает...» Видать, это и есть его собственное имя. И во всех прошениях тоже обращаются к Закону. Странный человек.

Лоренц. Да уж, лучше служить королю. По крайней мере звание благородное. Я тоже слыхал, что ваше господское отродье не очень-то милостиво.

Трактирщик. Да милостив-то он не очень, что верно, то верно, – зато уж сама справедливость. Ему часто даже из-за границы тяжбы переправляют, чтобы он их улаживал.

Лоренц. Про него диковинные вещи рассказывают – будто он в какого угодно зверя превратиться может.

Трактирщик. Это правда. Разгуливает себе инкогнито и разнюхивает настроения своих подданных. Оттого мы и не верим ни одному коту, ни одной чужой собаке или кобыле, – все боимся, что в их шкуре скрывается наш хозяин.

Лоренц. Да, нам, значит, и тут больше повезло: наш король шагу не ступит без короны, мантии и скипетра, поэтому его за версту распознаешь. Ну, здравия вам желаю. *(Уходит.)*

Трактирщик. Вот он уже и в родных краях.

Кунц. А что, граница так близко?

Трактирщик. Конечно. Вон то дерево принадлежит уже их королю. Нам тут все видно, что в его стране делается. Да в границе этой все мое счастье – я бы давно уже обанкротился, если бы меня не содержали дезертиры оттудова. Прибывают почти ежедневно.

Михель. Так тяжело им там служить?

Трактирщик. Служить-то не тяжело, да сбежать легко. И потому только, что это строго запрещено, парни наперебой рвутся дезертировать. Вот, извольте, – еще один препожаловал!

Вбегает солдат.

Солдат. Хозяин, кружку пива! Да поживей!

Трактирщик. Вы кто будете?

Солдат. Я дезертир!

Михель. Глядишь, еще и из чадолюбия, бедняжка. Вы уж приголубьте его, хозяин.

Трактирщик. Ну, были бы деньги, а пиво-то найдется. *(Уходит в дом.)*

Появляются два гусара на конях и спешиваются.

Первый гусар. Ну, слава богу, прибыли. Здорово, сосед!

Солдат. Тут уже граница!

Второй гусар. Да, благодарение небу. Уж как пришлось гнать из-за этого дурака! Эй, хозяин! Пива!

Трактирщик (появляясь с несколькими кружками пива в руках). Вот, господа хорошие, прекрасный освежающий напиток. А вы все трое здорово разгорячились.

Первый гусар (солдату). Ну, бездельник, за твое здоровье!

Солдат. Премного благодарен. Я могу пока попридержать ваших лошадок.

Второй гусар. Ну и ноги у этого парня! Хорошо еще, что граница так близко, иначе бы это уж совсем собачья служба была.

Первый гусар. Ну, нам пора домой! Будь здоров, дезертир! Счастливого пути!

Оба садятся на коней и уезжают.

Трактирщик. Вы здесь останетесь?

Солдат. Нет, я пойду дальше, мне ведь еще надо успеть завербоваться у соседского герцога.

Трактирщик. Заглядывайте, когда снова надумаете дезертировать.

Солдат. Само собой. Прощайте!

Пожимают друг другу руки. Солдат и *другие гости* уходят, *трактирщик* идет в дом.

Занавес.

3. Какие трансформации произошли с рейнской легендой о Лорелее стихотворениях К. Брентано и Г. Гейне?

Рейнская легенда

Немецкая легенда о Лорелее принадлежит к числу так называемых «местных преданий», то есть связанных с какой-либо определенной местностью. На берегу Рейна, близ города Бахараха, стоит высокая скала, издревле славившаяся удивительно отчетливым эхом, которое разносит далеко по воде голоса и каждое сказанное слово повторяет несколько раз.

Эту скалу называют скалой Лорелеи.

Легенда рассказывает, что в давние времена неподалеку от этой скалы в прибрежной деревушке жил бедный рыбак с дочерью, золотоволосой Лорелеей.

Лорелея полюбила знатного рыцаря и бежала с ним из отцовского дома. Рыцарь увез ее в свой замок, но недолгим было счастье красавицы. Прошло время — и рыцарь охладел к прекрасной Лорелее. Она вернулась в родную деревню и стала жить, как жила прежде, но сердце ее было разбито.

Красота Лорелеи привлекала многих достойных юношей, многие верно и преданно любили ее и хотели сделать своей женой, но она никому не верила и никого не хотела любить.

Люди начали обвинять ее в жестокосердии, а некоторые говорили, что она завлекает мужчин колдовством, чтобы отомстить им за измену рыцаря.

Эти слухи дошли до местного епископа. Он призвал к себе Лорелею и стал сурово ее упрекать. Несчастная красавица заплакала и поклялась, что неповинна в

колдовстве, а потом сказала, что единственное ее желание — окончить свои дни в монастыре, в тишине и уединении.

Епископ одобрил ее намерение и дал ей провожатых до ближайшей обители. Путь туда лежал по берегу Рейна. Лорелея поднялась на высокую скалу, чтобы в последний раз взглянуть на рыцарский замок, где она так недолго была счастлива.

А в это время ее неверный возлюбленный плыл на лодке по Рейну, приближаясь к опасному водовороту у подножья скалы.

Увидев его, Лорелея простерла к нему руки — и окликнула по имени. Рыцарь взглянул наверх, забыв про весла, и тут же лодку подхватило водоворотом, перевернуло и увлекло на дно.

Лорелея с горестным криком бросилась со скалы в воды Рейна следом за своим возлюбленным — и утонула.

Но с той поры по вечерам, на закате, стала появляться над Рейном ее бесплотная тень. Словно живая, сидит Лорелея на вершине скалы, золотым гребнем расчесывает свои золотые волосы и поет так печально и нежно, что всякий, плывущий в этот час по Рейну, заслушавшись, забывает обо всем на свете и гибнет в водовороте у подножия скалы Лорелеи.

К. Брентано
Лорелей

На Рейне в Бахарахе
Волшебница жила.
Ее краса немало
Несчастий принесла.
Безжалостно губила,
Всех, кто вздыхал по ней.
Таинственная сила
Была у Лорелей.

Ее епископ строгий
На грозный суд призвал,
Но и служитель Бога
Пред ней не устоял.

Он молвил ей с участьем:
«Бедняжка, что с тобой?
Зачем несешь несчастья
Ужасной ворожбой?» –

«Пусть смерть придет за мною,
Погибнуть я должна.
Я смерть своей красою
Нести обречена.

Мои глаза – как пламя
И руки – словно сеть.
О, бросьте меня в пламя,
Порвите мою сеть!» –

«Тебя проклясть не властен
И сжечь тебя в огне:
Огонь любовной страсти

Теперь кипит во мне!»–

«О патер, не глумитесь
Над участью моей
И Господу молитесь
За душу Лорелей!

Мне здесь ничто не мило,
И жизнь нет сил терпеть.
Моя мечта – могила.
Так дайте умереть!

Меня мой друг сердечный
Оставил здесь одну,
Уехал он навечно
В далекую страну.

Печаль в бездонном взоре
И нежность белых рук...
Вот он – источник горя,
Вот мой волшебный круг.

Своим лицом и статью
Я горе всем несла,
На мне лежит проклятье,
Скорей бы смерть пришла!

Не отнимайте права
Погибнуть во Христе –
И сгинет злая слава
В могильной темноте».

Тогда Христа служитель
Трех рыцарей призвал
И девушку в обитель
Везти им приказал.

«В обители печальной
Ты мир в душе найдешь
И к смерти долгожданной
Ты в свой черед придешь.

Христос – твой утешитель
От суеты вдали...»
И девушку в обитель
С охраной повезли.

«О рыцари, пустите
Лишь раз свернуть с пути.
Мне, бедной, разрешите
На ту скалу взойти.

Мне б разглядеть в тумане
Его высокий дом,
И я монашкой стану
Безропотно потом!»

И с ловкостью чудесной
Взобралась Лорелей
Вверх по скале отвесной,
И рыцари – за ней.

И Лорелей сказала:
«Среди зеленых волн
Я парус увидала,
Его я знаю челн!

Счастливой быть отныне
Пришел и мой черед!»
И бросилась с вершины
Она в пучину вод.

Нет рыцарям спасенья:
Обратно не сойдут.
Все три без погребенья
В мучениях умрут.

На Рейне в Бахарахе
Ту песню напевал
Один рыбак и слышал
Я голос среди скал:
Лоре Лей!
Лоре Лей!
Лоре Лей! -
Эхо души моей.

Гейне Г.
Лорелея
(перевод А. Блока)

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущён;
Давно не даёт покоя
Мне сказка старых времён.

Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор.
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.

Над страшной высотою
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы.

Златым убирает гребнем.
И песню поёт она:
В её чудесном пенье
Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
И всякий так погибает
От песен Лорелей.

4. Сравните образ Греции в стихотворении Гельдерлина «Греция», в отрывке из его романа «Гиперион» и в стихотворении Байрона «Песня греческих повстанцев». В чем сходство, в чем различие образа Греции в этих произведениях? Сравните мотивную структуру этих произведений.

Гельдерлин Ф.
Греция

Если б я тебя в тени платанов,
Где Илис бежал среди цветов,
Где над Агорой, весельем прянув,
Расходился рокот голосов,
Где отвага юношей будила,
Где сердца к себе склонял Сократ,
В миртах, где Аспазия бродила,
Где Платон творил свой вертоград,
Где весною праздника напевы,
Звуки флейт восторженно лились,
В честь заступницы, Минервы)Девы,
Вниз с холма священного неслись,
Где вся жизнь — поэзией хранимой,
Сном богов, без времени, текла, —
Если б там нашел тебя, любимый,
Как душа давно уж обрела!
Ах, иначе обнял бы тебя я! —
Пеньем бы ты славил Марафон,
И мой взор, улыбкою играя,
Искрился б, восторгом упоён;
Грудь твою победа б молодила,
Лаврами чело твое обвив;
Скука жизни б затхлой не душила
Радости исполненный порыв.
Ах, звезда любви, твоей отрады,
Юношеский, розовый рассвет!
Лишь в чреде златых часов Эллады
Бега ты не чувствовал бы лет;
Словно пламень Весты, бесконечно
В каждом сердце там любовь жила,

Дивных Гесперид плодами вечно
Сладостная юность там цвела.
Если б все ж ты наделен судьбою
Был толикой этих лет златых,
Ты бы счастлив был нести с собою
Пламенным афинянам свой стих;
Струн звенело б радостное пенье,
Кровью лился б ток лозы хмельной,
Уносило б прочь отдохновенье
Агору с шумливою толпой.
Любящее сердце б не напрасно
Жарко билось в том краю земли
Для народа, пред которым страстно
Слезы благодарные текли;
Час придет, спасешься из неволи,
Прах отринешь в горестной борьбе!
Дух нетленный, в сей земной юдоли
Нет стихии, родственной тебе!
Где они, богов сыны в Афинах?
Аттика не вспрянет ото сна,
В мраморе поверженном, в руинах
Смертная таится тишина;
День весенний сходит и поныне,
Только братьев он не застает
В той священной Илиса долине, —
И пустыня дням теряет счет.
В край Алкея и Анакреона
Низойти пути бы моему,
Там, среди героев Марафона,
В тесном я хочу уснуть дому!
Ах, последний этот плач умолкнет
О священной Греции моей,
Пусть же Парка ножницами щелкнет, —
Сердцем я уже среди теней.

Гельдерлин Ф. Из романа «Гиперион»

Гиперион к Беллармину

Милая земля отчизны снова дарует мне радость и скорбь.

Теперь я провожу каждое утро на горных склонах Истма, и душа моя часто устремляет полет, будто пчела над цветами, то к одному, то к другому морю, что справа и слева овевают прохладой подножия раскаленных от жара гор.

Но как бы любовался я одним из этих морских заливов, когда бы стоял здесь тысячелетием раньше!

Между райской равниной Сикиона и величаво пустынными Геликоном и Парнасом, где поутру на ста снеговых вершинах горной гряды играет заря, нес тогда этот блещущий залив, подобно победителю-полубогу, свои волны к городу радости, юному Коринфу, рассыпая добытые им сокровища всех поясов земли перед своим любимцем.

Но что с того? Меня пробуждает от грез вой шакала, поющего на развалинах древнего мира свою дикую надгробную песнь.

Благо тому, в чье сердце вливает радость и силы процветающее отечество! А у меня всякий раз, когда кто-нибудь упомянет о моей родине, такое чувство, будто меня бросили в трясину будто надо мною забивают крышку гроба: а ежели кто назовет меня греком, мое горло сжимается, словно его стянули собачьим ошейником.

И знаешь, Беллармин, когда порой у меня вырывалось хоть слово об этом или на глазах закипали слезы гнева, вот тогда-то являлись эти многоумные мужи — а их немало развелось среди вас, немцев, — ничтожные люди, для которых страждущая душа только повод для нравоученья, и, прикидываясь добренькими, позволяли себе говорить мне: не жалуйся, действуй!

О, если б я никогда не действовал, насколько богаче я был бы надеждами!

Так забудь же о том, что есть на свете люди, о мое обездоленное, мятущееся, столько раз уязвленное сердце, и возвратись туда, откуда ты вышло: в объятья природы, неизменной, спокойной и прекрасной.

Гиперион к Беллармину

У меня нет ничего, о чем бы я мог сказать: это мое.

Милые сердцу далеко или умерли, и ничей голос не принесет мне вестей о них.

Свое земное дело я совершил. С самыми добрыми намерениями принимался я за работу, отдал ей все силы — и ни на грош не обогатил мир.

Безвестен и одинок возвратился я сюда и скитаюсь по отчизне, раскинувшейся вокруг, как царство мертвых, и меня, быть может, подстерегает нож охотника, которому мы, греки, точно лесная дичь, отданы на заклание.

Но ты еще светишь, солнце в небесах! Ты еще зеленеешь, святая земля! Еще катятся с шумом реки к морям и шелестят в полдень тенистые деревья. Пленительная песнь весны убаюкивает мои бренные мысли. Полнота вселенской жизни утоляет и пьянит мою алчущую душу.

О благостная природа! Сам не знаю, что творится со мной, когда я подъемлю взор на твою красоту, но наивысшее блаженство испытываю я, когда лью пред тобою слезы, как влюбленный перед возлюбленной.

Все во мне замирает и вслушивается, когда легкое дуновение ветерка нежит мою грудь. Утопая в бескрайней лазури, я то вскидываю глаза ввысь, в эфир, то гляжу вниз, в святое море, и тогда кажется, будто некий родственный дух раскрывает предо мною объятья и моя скорбь одиночества растворяется в жизни божества.

Слиться со всею вселенной — вот жизнь божества, вот рай для человека!

Слиться воедино со всем живущим, возвратиться в блаженном самозабвении во всебытие природы — вот вершина чаяний и радостей, вот священная высота, место вечного отдохновения, где полдень нежарок, и гром безгласен, и бурлящее море подобно бесшумно волнующейся ниве.

Слиться воедино со всем живущим! При этих словах добродетель бросает свои бранные доспехи, а дух человеческий — свой скипетр и все мысли отступают перед образом вечно единого мира, равно как все правила творящего в муках художника — перед его Уранией; непреклонная судьба отрекается от власти, из круга живых исчезает смерть, и неразрывная связь всего сущего и вечная юность делают мир счастливей и прекрасней.

Я часто поднимаюсь на эти высоты, мой Беллармин! Но стоит лишь начать рассуждать, как я стремглав падаю вниз. Поразмыслив, я открываю, что по-прежнему один со всеми горестями смертного, что нет больше приюта моего сердца, вечно единого мира; природа больше не раскрывает мне свои объятья, и я стою перед ней как чужой, не понимая ее.

Ах, лучше бы я никогда не ходил в ваши школы! Наука, вслед за которой я проникал в самые глубины познания, ожидая по своему юношескому простодушию, что она укрепит меня

в моей чистой радости, только все испортила.

Я стал у вас до того рассудительным, до того основательно приучился отделять себя от всего окружающего, что теперь отрешен от прекрасного мира, изгнан из сада природы, где я рос и расцветал, и ныне иссыхаю под полуденным солнцем.

О, когда человек мечтает — он бог, но когда рассуждает — он нищий; и когда его восторг прошел, он стоит, словно непутевый сын, выгнанный отцом из дому, и разглядывает скудные гроши, которые кто-то из милости подал ему на дорогу.

Гиперион к Беллармину

Благодарю тебя за то, что ты просишь меня рассказать о себе и воскрешаешь в моей памяти минувшее.

Меня и привело снова в Грецию желание жить поближе к тем местам, где проходили дни моей юности.

Как труженик погружается в живительный сон, так и я подчас погружаюсь истомленной душой в свое безгрешное прошлое.

Спокойствие детства! Небесное спокойствие! Как часто я безмолвно стою, любуясь тобой, и так хочу тебя постигнуть! Но мы ведь имеем представление лишь о том, что некогда было плохо и затем стало хорошо; о детстве же, о былой безгрешности мы не имеем никакого понятия.

Когда я был еще кротким ребенком и ничего не знал обо всем, что нас окружает, разве я не был совершеннее, чем теперь, после всех сердечных мук, раздумий и борьбы?

Да, дитя человеческое — это божественное создание, пока оно еще не погрязло в скверне людского хамелеонства.

Ребенок всегда таков, каков он есть, и потому так прекрасен.

Гнет закона и рока не властен над ним; он — сама свобода.

В нем царит мир; ребенок еще в ладу с самим собою. Он еще богат, он знает свое сердце, а убожество жизни ему неведомо. Он бессмертен, ибо ничего не знает о смерти.

Однако люди не могут этого стерпеть. Божественное должно уподобиться им, должно узнать, что они тоже существуют, и, еще прежде, чем природа успеет изгнать дитя человеческое из своего рая, люди уже всячески стараются выманить его оттуда и завлечь на проклятую богом ниву труда, чтобы дитя трудилось, как они, в поте лица своего.

Но прекрасно и время нашего пробуждения, если только нас не разбудят преждевременно.

О, это святое время, когда наша душа впервые расправляет крылья, когда мы, всецело во власти стремительного, бурного роста, стоим, окруженные великолепием мира, как молодое растение, которое распускается под лучами утреннего солнца и тянет ручонки ввысь, навстречу бездонному небу!

Как влекло меня тогда в горы и на берег моря! Ах, как часто сидел я с бьющимся сердцем на холмах Тине, провожая глазами соколов и журавлей и отважные веселые корабли, исчезавшие за горизонтом. «Туда, вдаль! Когда-нибудь и ты уплывешь туда», — повторял я и чувствовал себя как человек, истомленный зноем, который бросается в прохладную воду и освежает чело пенистой влагой.

Вздыхая, возвращался я домой. «Скорей бы миновали годы ученья», — часто думалось мне.

Бедный юнец! Они еще далеко не миновали.

И не странно ли, что человеку в юности цель кажется такой близкой? Этим прекраснейшим из всех обманов и пользуется природа, чтобы помочь нам преодолеть нашу слабость.

И когда я, бывало, лежал среди цветов, согретый ласковым весенним солнцем, и глядел в ясную лазурь, объемлющую теплую землю, когда я сидел в горах под ивами и вязами после живительного дождя, и ветви еще трепетали от прикосновений небес, и над окропленным влагой лесом шли золотые облака или когда мирно всходила вечерняя звезда вместе с древними Близнецами и другими героями, населяющими небо, и я видел, как протекает их жизнь в эфире, следуя извечному, неизменно действующему порядку, тогда я трепетно внимал окружающему меня спокойствию вселенной, безотчетно ему радуясь, и тихо спрашивал: «Ты любишь меня, отец небесный?». И сердце мое с блаженной уверенностью предчувствовало ответ.

Байрон

Песня греческих повстанцев

О Греция, восстань!
Сиянье древней славы
Борцов зовет на брань,
На подвиг величавый.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пускай за нами следом
Течет тиранов кровь.

С презреньем сбросьте, греки,
Турецкое ярмо,
Кровью вражеской навеки
Смойте рабское клеймо!

Пусть доблестные тени
Героев и вождей
Увидят возрожденье
Эллады прежних дней.

Пусть встает на голос горна
Копьеносцев древних рать,
Чтоб за город семигорный
Вместе с нами воевать.

Спарта, Спарта, к жизни новой
Подымайся из руин
И зови к борьбе суровой
Вольных жителей Афин.

Пускай в сердцах воскреснет
И нас объединит
Герой бессмертной песни,
Спартанец Леонид.

Он принял бой неравный
В ущелье Фермопил

И с горсточкою славной
Отчизну заслонил.

И, преградив теснины,
Три сотни храбрецов
Омыли кровью львиной
Дорогу в край отцов.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пускай за нами следом
Течет тиранов кровь.

5. Каким образом Э. Бёрк обосновывает эстетическую ценность ужасного? Прочитайте отрывок из романа А. Рэдклиф «Удольфские тайны» и покажите, каким образом автор создает эффект ужасного? Сходно ли понимание ужасного Рэдклиф с его пониманием Бёрком? Как Рэдклиф использует прием суггестии?

Э. Бёрк. Из трактата «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного»

Раздел 1

Об аффекте, вызываемом Возвышенным

Аффект, вызываемый великим и возвышенным, существующим в природе, когда эти причины действуют наиболее сильно, есть изумление, а изумление есть такое состояние души, при котором все ее движения приостановлены под воздействием какой-то степени ужаса. В этом случае душа настолько заполнена своим объектом, что не может воспринять никакого другого и, следовательно, не может размышлять о том объекте, который ее занимает. Отсюда возникает великая сила возвышенного, которое не только не вызывается нашими рассуждениями, но даже предупреждает их и влечет нас куда-то своей неодолимой силой. Как я сказал, изумление есть следствие возвышенного в его самой высокой степени; следствия более низкого порядка суть восхищение, почтение и уважение.

Раздел 2

Страх

Ни один аффект не лишает дух всех его способностей к действию и размышлению так, как страх. Ибо страх, будучи предчувствием неудовольствия или смерти, действует таким образом, который напоминает реальное неудовольствие. Поэтому все, что страшно для зрения, есть одновременно и возвышенное, независимо от того, будет ли наделена эта причина страха огромными размерами или нет; ибо на то, что может быть опасным, нельзя смотреть как на нечто мелкое или достойное презрения. Есть множество животных, далеко не великанов по своим размерам, которые тем не менее способны возбуждать идеи возвышенного, потому что считаются объектами, вызывающими страх, как, например, змеи и ядовитые животные почти всех видов. А если к предметам, обладающим огромными размерами, мы дополнительно присоединяем идею страха, они становятся несравненно более великими. Ровная поверхность суши, простирающейся на большое расстояние, безусловно, внушает идею, которую не назовешь низкой; перспектива такой равнины может быть так же велика, как и перспектива океана; но разве может она когда-либо заполнить душу чем-либо великим, подобно самому океану?

Это объясняется несколькими причинами, но более всего тем, что океан — объект, внушающий немалый страх. В действительности страх во всех каких бы то ни было случаях, либо более открыто, либо скрытно, является господствующим принципом возвышенного. О сходстве этих идей очень убедительно свидетельствует несколько языков. В них для обозначения как разных видов изумления или восхищения, так и разных видов стра- ха часто употребляется без различия одно и то же слово. Римляне для выражения воздействия либо просто страха, либо изумления употребляли глагол «stupeo» — выражение, которое четко определяет состояние изумленного духа, слово «attonitus» (громом пораженный) в равной мере выражает связь этих идей; а разве французское «etonnement » и английские «astonishment» («изумление») и («удивление») не указывают так же ясно на родственные эмоции, которые сопровождают страх и удивление? Не сомневаюсь, что те, кто знает больше языков, могли бы привести много других и не менее поразительных примеров.

Раздел 3
Тьма и Неизвестность

Для того чтобы сделать любую вещь очень страшной, кажется, обычно необходимо скрыть ее от глаз людей, окутав тьмой и мраком неизвестности (obscurity). Когда мы полностью представляем размеры любой опасности, когда мы можем приучить наши глаза к ней, страхи намного уменьшаются. Это поймет каждый, кто принимает во внимание, насколько ночь усиливает нашу боязнь во всех случаях опасности и насколько понятия о призраках и домовых, о которых никто не может составить ясного представления, воздействуют на души, верящие распространенным сказкам относительно такого рода существ. Те деспотические режимы правления, которые держатся на аффектах людей, и главным образом на аффекте страха, прячут своего главу насколько можно дальше от глаз народа. К тому же самому во многих случаях прибегали и в религии. Почти все языческие храмы были погружены во мрак. Даже в наши дни американские индейцы держат своего идола в темном углу хижины, которая представляет собой храм, посвященный служению ему. В этих же целях и друиды выполняли все свои обряды в чаще самых темных лесов и в тени самых раскидистых дубов. Представляется, что никто лучше Мильтона не понял тайну усиления страшного или, если мне позволят употребить это выражение, представления его в самом ярком свете с помощью обдуманного использования мрака. Его описание Смерти во второй книге сделано восхитительно; поразительно, с какой мрачной торжественностью, с какой многозначительной и выразительной неопределенностью отдельных штрихов и колорита он завершил портрет царя ужасов.

Другое существо — когда возможно
Так называть бесформенное нечто,
Лишенное и членов, и суставов,
И образа,— на призрак походило.
Зловещее, как ночь и темный ад,
И злобное, как десять грозных фурий,
Оно копьем ужасным потрясало,
И головы подобие венчалось
Подобием короны у него

В этом описании все мрачно, неопределенно, смутно, страшно и возвышенно до последней степени.

А. Рэдклиф

Удольфские тайны (из главы 18)

К вечеру дорога стала спускаться в глубокую лощину. Ее обступали горы, щетинистые кручи которых казались почти недоступными. На востоке открывалась расщелина и оттуда виднелись Апеннины во всей их мрачной неприступности: длинная перспектива вершин, громоздящихся одна над другой, с хребтами, поросшими соснами, представляла величественную картину, поразившую Эмилию. Солнце садилось за вершины гор, по которым они спускались, и они бросали длинные тени в долину; косые лучи солнца, прорываясь сквозь щель в скале, озаряли желтым сиянием макушки леса на противолежащих крутизнах и со всей силой ударяли в башни и зубцы замка, простиравшего свои стены по самому краю утеса. Величественность этих ярко освещенных зданий еще усиливалась резкой тенью, сгустившейся внизу долины.

— Вот Удольфо! — промолвил Монтони.

Он заговорил в первый раз после нескольких часов молчания.

Эмилия с грустью и страхом глядела на замок, поняв из слов Монтони, что это и есть цель их путешествия. Хотя он в эту минуту освещался заходящим солнцем, но готический стиль его сооружений и серые стены, покрытые плесенью, придавали ему мрачный, угрюмый вид. Пока она рассматривала его, свет погас на его стенах, оставляя за собой печальный фиолетовый оттенок, который все сгущался, по мере того как испарения ползли вверх по горе, тогда как наверху зубцы все еще были залиты ярким сиянием. Но вот и там лучи скоро погасли, все здание погрузилось в торжественный вечерний полумрак. Безмолвное, одинокое, величавое, оно как бы царило над всем окружающим и сердито хмурилось на всякого, кто осмелился бы подойти к нему. В сумерках очертания его стали еще суровее. Эмилия не отрывала от него глаз до тех пор, пока стали видны одни только башни, торчащие над макушками деревьев, под густой тенью которых экипажи начали взбираться по горе.

Пустынность и мрачность этих лесов вызывали страшные картины в ее воображении; ей казалось, что вот сейчас из-за дерева выскочат бандиты. Наконец экипажи въехали на каменистую площадку и вскоре достигли ворот замка; густой звук колокола, в который позвонили, чтобы известить об их приезде, еще усилил мрачное впечатление, охватившее Эмилию. Пока они дожидались, чтобы слуга отпер ворота, она с беспокойством оглядывала все здание, но за темнотой могла различить только части его очертаний, с массивными стенами и брустверами, и вывести заключение, что замок старинный, огромный и мрачный. Из того, что она видела, можно было судить о массивности и громаде общего. Ворота, ведущие во дворы, были исполинских размеров и защищались двумя круглыми башнями с зубцами, откуда вместо флагов свешивались пучки длинной травы и дикие растения, пустившие корни среди заплесневелых камней; в них уныло шелестел ветер, точно вздыхая над окружающей пустыней. Башни соединялись стеной, также пробитой бойницами, а под нею виднелась остроконечная арка огромной спускной решетки; отсюда стены ограды тянулись до других башен, возвышающихся над пропастью, неровные очертания которых, еще видимые при отблеске зари, потухавшей на западе, говорили о разрушениях, причиненных во время войны. Все остальное тонуло в потемках.

Пока Эмилия с трепетом оглядывала здание, изнутри послышались шаги и стук снимаемых засовов; вслед затем показался старик слуга и с трудом стал раздвигать тяжелые створки ворот, чтобы пропустить своего господина. Когда колеса экипажа тяжело покатились под воротами, сердце Эмилии томительно заныло: ей показалось, что она попала в тюрьму. Мрачный двор, куда она въехала, подтверждал это впечатление, и ее чуткое воображение рисовало ей всякие ужасы.

Через другие ворота они въехали во второй двор, весь поросший травою, пустынный и унылый; она окинула взглядом окружающие ее высокие стены, увенчанные брионией и мхом, и торчащие над ними зубчатые башни. Ей представилось, что тут наверное во время оно происходили пытки и убийства; одно из тех мгновенных,

безотчетных впечатлений, какие потрясают порою даже сильные души, наполнило ее ужасом. Чувство это не ослабело, когда она вошла в обширные готические сени, где царил вечерний сумрак; вдали мерцал тусклый свет сквозь длинную перспективу сводов, что еще усиливало впечатление мрачности. Слуга принес лампу; свет ее местами озарил колонны и остроконечные своды; освещенные части их образовали резкий контраст с тенями, протянувшимися по полу и по стенам.

<...>

Эмилия поднялась по мраморной лестнице и пошла по коридору; Аннета болтала без умолку.

— Право, диковинный здесь дом, барышня! Жутко в нем жить! И угораздило же меня уехать из Франции! Ведь не думала я, не гадала, отправляясь с барыней путешествовать и повидать свет, что нас запрячут в этакую трущобу! Лучше бы оставалась я преспокойно на родине… Сюда пожалуйте, барышня, вот поворот… Здесь так и лезут в голову сказки про великанов — замок как будто для них построен; по ночам, верно, тут пляшут феи — в этих огромных залах. Ишь ведь, ни дать ни взять церковь с этими высокими колоннами!

— Да, — промолвила Эмилия с улыбкой, радуясь возможности отвлечь свои мысли от более удручающих тем, — если прийти в этот коридор в полночь и заглянуть отсюда вниз в сени, то, наверное, можно увидеть волшебное зрелище: горят тысячи ламп и хороводы фей весело танцуют при звуке волшебной музыки — именно в таких местах они любят водить хороводы. Только боюсь, Аннета, тебе не удастся полюбоваться ими: ты не выдержишь, непременно заговоришь, а они этого не любят — при одном звуке человеческого голоса пропадают в один миг…

— О, если вы пойдете со мной за компанию, барышня, так я приду, пожалуй, в коридор нынче же ночью и обещаю держать язык за зубами: не моя будет вина, если феи убегут! А в самом деле, как вы думаете, придут они?

— Не могу обещать тебе; но верю, что ты не нарушишь волшебные чары!

— И на том спасибо, барышня; это вы хорошо сказали. Фей-то я не так боюсь, как привидений; говорят, их пропасть водится здесь в замке. Я до смерти перепугаюсь, коли встречу привидение. Тсс… тише, барышня, как будто что-то промелькнуло мимо…

— Что за нелепость! — сказала Эмилия, — не надо верить всякому вздору.

— Ах, барышня, вовсе это не вздор. Бенедетто мне сказывал, что в этих самых галереях и залах только и жить что привидениям; чего доброго, если долго пробудешь здесь, так сам превратишься в привидение!

— Однако, берегись, чтобы про все это не дошло до синьора Монтони, — сказала Эмилия, — эти глупые страхи ему очень не понравятся.

— Как? — вам и про это известно! — воскликнула Аннета. — Нет, нет, конечно я не стану ничего такого говорить при нем; хотя, если сам синьор может спать спокойно, то ни одна душа е замке не имеет причин страдать бессонницей — в этом я уверена.

Эмилия пропустила мимо ушей это замечание.

— Вот сюда вниз пожалуйте, барышня, этот коридор ведет на черную .лестницу. Ох, если я что увижу, так я с ума сойду от страха!

— Ну, это едва ли будет возможно, — пошутила Эмилия, следуя за Аннетой по извилистому коридору, выходившему в другую галерею. Аннета, заметив, что она заблудилась, покуда так красноречиво разглагольствовала о феях и привидениях, заметалась по ходам и коридорам и наконец, перепуганная их пустынностью и запутанностью, стала громко звать на помощь; но слуги не могли ее услышать, — они были на другом конце замка; Эмилия, наконец, отворила наугад какую-то дверь по левую руку.

— Ах, не ходите туда, барышня! — взмолилась Аннета, — вы только еще пуще заблудитесь.

— Давай сюда свечу, — приказала Эмилия, — может быть, мы найдем дорогу через эти комнаты.

Аннета стояла у двери в колебании, высоко подняв свечу, чтобы видна была вся комната, но слабый свет освещал только половину ее.

— Чего ты трусишь? — сказала ей Эмилия, — я хочу посмотреть, куда выходят эти покои.

Аннета, скрепя сердце, шагнула вперед. За этой комнатой следовал целый ряд просторных старинных покоев, — одни были увешаны коврами, другие обшиты панелями из темного кедрового дерева. Мебель казалась такой же старинной, как и самый дом, но сохранила вид величия и былой роскоши, хотя была покрыта слоем пыли и уже приходила в разрушение от сырости и ветхости.

— Какая стужа в этих комнатах, барышня! — восклицала Аннета, — никто здесь не живет вот уже много-много лет — так мне сказывали. Но пойдем дальше.

— Может быть, эти комнаты выведут нас на главную лестницу, — заметила Эмилия.

Девушки пошли дальше; достигнув комнаты, увешанной картинами, они стали разглядывать одну из них, изображавшую поле битвы и воина верхом на коне, готовившегося пронзить копьем человека, который лежал под ногами у коня и протягивал руки умоляющим жестом. Воин, у которого забрало было поднято, глядел на свою жертву злобным, мстительным взором, и это лицо живо напомнило Эмилии черты Монтони. Она вздрогнула и отвернулась, поспешно отведя свечу, она натолкнулась на другую картину, задернутую черным шелковым покрывалом. Эта странность поразила ее, и она остановилась перед картиной, намереваясь снять покрывало, но у нее не хватало мужества.

— Матерь Божья! что это значит? — воскликнула Аннета. — Наверное, это та самая картина, о которой мне что-то рассказывали в Венеции.

— Какая картина? Что ты говоришь? — спросила Эмилия.

— Ну, картина… картина, — твердила Аннета, — но только я так и не могла добиться, что в ней особенного.

— Сними-ка покрывало, Аннета.

— Полно! Что вы выдумали, барышня! Да ни за что на свете!

Эмилия, обернувшись, увидала, как щеки Аннеты побледнели.

— Ну, так скажи мне, милая моя, что ты слышала про эту картину такого страшного?

— Да ничего, ровно ничего, барышня, пойдемте искать выхода.

— Конечно, пойдем, но раньше я хочу взглянуть на картину; подержи свечу, Аннета, а я сниму покрывало.

Аннета взяла в руки свечу и тотчас же отбежала с нею прочь, не обращая внимания на приказание Эмилии подойти; наконец Эмилия, не желая оставаться одна в потемках, последовала за горничной.

— Скажи на милость, что это значит, Аннета, — спросила Эмилия, догнав ее, — что ты слыхала про эту картину и почему ты не хочешь остановиться, когда я тебе приказываю?

— И не спрашивайте; я не знаю, ничего не знаю толком, барышня, — отвечала Аннета, — а только слыхала, что с этой картиной связано какое-то ужасное преступление, и вот с той поры она задернута черным; никто не заглядывает на нее уже много, много лет; эта история имеет отношение к прежнему хозяину, к тому, что владел замком до синьора Монтони, и…

— Хорошо, Аннета, — улыбнулась Эмилия, — я убедилась, действительно, что ты ничего не знаешь толком про эту картину.

— Ничего, право ничего, барышня, потому что, видите ли, с меня взяли слово никому не говорить… но…

— Хорошо, хорошо, — остановила ее Эмилия, заметив, что она борется между желанием разболтать тайну и страхом последствий. — Я не стану больше расспрашивать.

— И не надо, барышня, пожалуйста!

— Иначе ты все разболтаешь?

Аннета опять покраснела, а Эмилия улыбнулась, и обе, дойдя до последней комнаты анфилады, очутились опять на площадке мраморной лестницы; там Аннета оставила Эмилию, а сама побежала за кем-нибудь из слуг замка, кто мог бы указать им комнату, назначенную барышне.

Пока она ходила, мысли Эмилии опять обратились к картине; ей не хотелось допытывать служанку и заставить ее объяснить странные намеки, вырвавшиеся у нее насчет Монтони, но любопытство ее было возбуждено до крайности. Она даже готова была сейчас же пойти назад в таинственную комнату и рассмотреть картину; но ее удерживали — поздний час, пустынность дома, тишина, царившая вокруг, и какое-то жуткое чувство, навеянное таинственной картиной. Однако она решила про себя непременно пойти туда днем и отдернуть черное покрывало, закутывавшее портрет. Облокотясь о перила лестницы и внимательно озираясь вокруг, она опять обратила внимание на массивность стен, теперь уже пришедших в некоторое разрушение, я толстых, мраморных колонн, подымавшихся от самого низа и подпиравших потолок.

Наконец появился слуга вместе с Аннетой я провел Эмилию в назначенную ей комнату, помещавшуюся в отдаленном углу замка, в самом конце коридора, откуда как раз выходит ряд комнат, по которым они так долго блуждали. Уединенность и мрачность ее комнаты так неприятно поразили Эмилию, что ей не хотелось отпускать от себя Аннету, впрочем, ее угнетал не столько страх, сколько сырость и холод, стоявшие в комнате. Она попросила Катерину, служанку при замке, принести дров и затопить камин.

6. Прочитайте отрывок из статьи В. Скотта «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана». Сравните концепцию «ужасного» Э. Бёрка и А. Рэдклиф с концепцией «сверхъестественного» Скотта.

Сверхъестественные явления носят обычно характер таинственный и неуловимый, они кажутся нашему напуганному воображению особенно значительными тогда, когда мы и сами не можем в точности сказать что же, собственно, мы видели и какой опасностью это видение угрожает нам. Они подобны тем образам, что возникают в сознании Девы из маски "Комус":

...Видений мириады
В моем сознании текут толпой
Теней зовущих, призраков манящих,
Чудовищных ревущих голосов,
Скандирующих чьи-то имена
В пустынях диких и в песках прибрежных.

Берк утверждает, что темнота изложения необходима, ибо именно благодаря ей произведение наводит ужас на читателя. «Привидений и домовых, – пишет он, – никто не может себе представить, но как раз это и подстегивает нашу фантазию, заставляя нас верить народным рассказам об этих существах». Ни один писатель, по его мнению, «не владел таким даром создавать чудовищные образы и окружать их атмосферой ужаса благодаря обдуманной темноте изложения, как Мильтон. Образ Смерти во второй книге «Потерянного рая» разработан превосходно; просто диву даешься, с каким мрачным великолепием, с какой волнующей и многозначительной неясностью оттенков и очертаний завершает он портрет этого Владыки Ужасов:

И новый образ — коль назвать решимся
Мы образом тот бестелесный мрак,
Где нет ни форм, ни членов, ни суставов,

Коль явью призрак звать за то, что явь
Столь с призраком неразличимо сходна, -
Черней, чем ночь, грознее преисподней
И яростней десятка лютых фурий,
Стоит, вздымая смертоносный дрот,
И грозное подобье головы
Венчается подобием короны.

Все в этом образе таинственно, неясно, смутно, потрясающе и возвышенно до крайних пределов. Рядом с вышеприведенным отрывком достоин быть упомянутым лишь всем известный рассказ о видении из Книги Иова с его ужасающей смутной неопределенностью: И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него.

Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною; дыбом стали волоса на мне. Он стал, – но я не распознал вида его, – только облик был перед глазами моими; тихое веянье, – и слышу голос...

Эти возвышенные и убедительные примеры подтверждают, что в художественном произведении сверхъестественные явления следует выводить редко, кратко, неотчетливо, оставляя описываемое привидение настолько непостижимым, настолько непохожим на нас с вами, чтобы читатель и предположить не мог, откуда оно пришло или зачем явилось, а тем более не составил себе ясного и отчетливого представления об его свойствах. Поэтому обычно бывает так, что первое соприкосновение со сверхъестественным производит наиболее сильный эффект, тогда как в дальнейшем, при повторении подобных эпизодов, впечатление скорей ослабевает и блекнет, нежели усиливается. Даже в «Гамлете» второе появление призрака оказывает далеко не столь сильное воздействие, как первое; во многочисленных же романах, на которые мы могли бы сослаться, привидение, так сказать, утрачивает свое достоинство, появляясь слишком часто, назойливо вмешиваясь в ход действия и к тому же еще становясь не в меру разговорчивым, или попросту говоря болтливым. Мы сильно сомневаемся, правильно ли поступает автор, вообще разрешая своему привидению говорить, если оно к тому же еще в это время открыто человеческому взору. Шекспир, правда, подыскал для «мертвого повелителя датчан» такие слова, какие уместны в устах существа сверхъестественного и по стилю своему отчетливо разнятся от языка живых действующих лиц трагедии. В другом месте он даже набрался смелости раскрыть нам в двух одинаково сильных выражениях, как и с какой интонацией изъясняются обитатели загробного мира:

И мертвый в саване на стогнах Рима
Скрипел визгливо да гнусил невнятно.

Тем не менее то, с чем справился гений Шекспира, будет, пожалуй, выглядеть комичным, если это выйдет из-под пера менее одаренного писателя; именно поэтому во многих современных романах крови и ужаса наше чувство страха уже задолго до развязки ослабевает под воздействием того чрезмерно близкого знакомства, которое порой ведет к неуважению. Понимая, что сверхъестественное, поданное слишком упрощенно, быстро утрачивает свою силу, современные писатели стремятся проложить новые пути и тропы в зачарованном лесу, чтобы так или этак оживить, насколько удастся, слабеющие эффекты таящихся в нем ужасов. Наиболее очевидный и простой способ достичь этой цели заключается в том, чтобы расширять и множить сверхъестественные события в романе. Однако, исходя из вышеизложенного, мы склонны полагать, что чрезмерно подробное и старательное описание не только не усиливает впечатления, но, напротив, ослабляет его. В этом случае утрачивается изящество, а злоупотребление превосходной степенью, наводняющей роман, делает его утомительным или даже смешным, вместо того чтобы

сообщить ему мощь и возвышенность. Существуют, однако, и такие сочинения, в которых сверхъестественному отводится немаловажная роль, но которые способствуют лишь игре фантазии, а не творческой работе мысли, и стремятся скорее развлечь читателя, нежели увлечь его и привести в волнение. К ним относятся восточные сказки, которые доставили нам немало наслаждения в юности и которые мы с таким удовольствием припоминаем, а то и перечитываем в более зрелые годы. Немного найдется читателей, хоть сколько-нибудь одаренных воображением, которые в ту или иную пору жизни не разделяли бы увлечений Коллинза. «Этот поэт, – уверяет доктор Джонсон, – приходил в совершеннейший восторг от свойственных этим сказкам бурных взлетов фантазии, которая разрывала узы естественного и с которой разум мирился, лишь пассивно покоряясь господствующим вкусам. Он был влюблен во всех этих фей, джиннов, великанов и чудищ; увлеченно бродил по зачарованным лужайкам, любовался великолепием золотых дворцов, отдыхал у водопадов в Елисейских Полях». В такого рода книгах, не требующих при чтении особой работы мысли, находят наслаждение главным образом молодые и праздные люди. Став старше, мы вспоминаем их, как вспоминают игры детства, скорее потому, что мы некогда любили их, чем потому, что они и ныне способны нас позабавить. Обескураженный нелепостью вымысла, зрелый рассудок не воспринимает их чар, и, хотя этот дикий вымысел содержит немало прекрасного и полон фантазии, тем не менее бессвязность и отсутствие общего смысла приводят к тому, что сказки эти оставляют нас равнодушными и мы проходим мимо них, как богатырская дева Бритомарта проезжала мимо богатого берега,

Где был рассыпан жемчуг самокатный,
Сапфир и лал, где цвел узор камчатный,
Где золотом червонным рдел песок.
Все в диво ей, но, путь ни на вершок
Не изменив и лишь взглянув бесстрастно
На золото, на жемчуга и шелк,
Она презрела их - ей было все подвластно.

К этому же разряду сочинений о сверхъестественном может быть причислен и другой, хотя и менее интересный, вид сказок, который французы называют contes des fees, (Сказки о феях (франц.).) стремясь этим названием отграничить его от распространенных во многих странах обычных народных сказок о волшебных существах. Conte des fees (Сказка о феях (франц.).) совершенно особый жанр, и действующие феи вовсе непохожи на тех эльфов, которые только и знают, что плясать вокруг гриба при лунном свете или сбивать с пути запоздалого селянина. Французская фея больше напоминает восточную пери или фату из итальянских стихов. По своей природе она высшее существо, стихийный дух, обладающий магической силой, и эта сила в значительной мере помогает ей творить добро и зло. Но какие бы достоинства этот жанр ни обрел в искусных руках, стоит ему только попасть в руки менее ловкие, как он становится на редкость плоским, нелепым и безжизненным. Из огромного, насчитывающего около пятидесяти томов "Cabinet des fees", ("Собрания сказок о феях" (франц.).) если отвлечься от привязанностей нашего детства, мы вряд ли наберем и полдесятка книжек, которые хоть в какой-то мере могут доставить нам удовольствие.

Нередко случается так, что в то время как какое-нибудь отдельное направление в искусстве ветшает и приходит в упадок, карикатура на это направление или сатирическое использование его приемов способствует появлению нового вида искусства. Так, например, английская опера возникла из пародии на итальянский театр, созданной Геем в "Опере нищих". Точно так же, когда книжный рынок был наводнен ad nauseam {До отказа (лат.).} арабскими сказками, персидскими сказками, турецкими сказками, монгольскими сказками и легендами всех народов, живущих к востоку от Босфора, когда публика окончательно пресытилась растущим потоком всякого рода волшебных повествований, граф Энтони Гамильтон, подобно новому Сервантесу, выступил со своими

сатирическими сказками, которым суждено было произвести переворот в Царстве дивов, джиннов, пери et hoc genus omne. (И прочих существ подобного рода (лат.).) Порою слишком вольные для нашего утонченного века, сказки графа Гамильтона служат превосходной иллюстрацией того, что любая область литературы, подобно ниве земледельца, какой бы она ни казалась истощенной и бесплодной, тем не менее поддается обновлению и может опять приносить урожай, если ее новым способом возделать и обработать. Остроумие графа Гамильтона, словно удобрение, брошенное в истощенную почву, сделало восточную сказку если не более поучительной, то хотя бы более пикантной. Многие подражали стилю графа Гамильтона; в частности, он оказал влияние на Вольтера, который, идя этим путем, превратил повесть о сверхъестественном в удачнейшее средство сатиры. Таким образом, в этом роде литературы мы имеем дело с комической разновидностью сверхъестественного, ибо автор здесь Откровенно показывает свое намерение обратить в шутку чудеса, которые он описывает, и стремится развеселить читателя, отказываясь воздействовать на его воображение, а тем более на его чувства. Читатель видит в этих сказках попросту пародию на сверхъестественное, которая возбуждает смех, отнюдь не вызывая почтительного внимания или хотя бы того неглубокого волнения, с каким обычно слушают волшебное повествование о феях. Этот вид сатиры - а жанр этот часто используют в сатирических целях - особенно удачно применяли французы, хотя Виланд и некоторые другие немецкие писатели, идя по следам Гамильтона, дополнили еще и поэтичной грациозностью то остроумие и ту фантазию, которыми они украсили свои творения. "Оберон", в частности, вошел в нашу литературу благодаря блестящему переводу господина Созби и почти столь же известен в Англии, как и в Германии. Однако мы слишком бы удалились от нашей нынешней темы, если бы стали исследовать герои-комическую поэзию, которая также относится к этому роду литературы и включает в себя прославленные творения Пульчи, Берни, да, пожалуй, в какой-то степени и самого Ариосто, который время от времени так высоко приподнимает забрало своего рыцарского шлема, что нам нетрудно уловить мимолетный отблеск улыбки, пробежавшей по его лицу. Более общий взгляд на карту этого на редкость привлекательного волшебного царства открывает нам другую его область, которая выглядит, быть может, суровой и дикой, но, пожалуй, как раз поэтому и таит в себе весьма заманчивые находки. Существуют такие любители старины, которые не стремятся, подобно многим другим, приукрашивать собранные ими предания своего народа, а ставят перед собой задачу antiques accedere fontes, (Приблизиться к древним истокам (лат.).) добраться до тех исконных источников и родников древней легенды, которые любовно сохранялись седой и суеверной стариной, но почти начисто изгладились из памяти образованных кругов, однако затем были ими заново открыты и, подобно старым народным балладам, завоевали известную популярность именно вследствие своей безыскусственной простоты. "Deutsche Sagen" ("Немецкие предания" (нем.).) братьев Гримм - один из превосходных памятников подобного рода; свободная от всякого искусственного приукрашивания, от попыток улучшить язык или усложнить отдельные эпизоды, книга эта вобрала в себя множество бытовавших в разных немецких землях преданий, в основе которых лежат народные поверья, а также происшествия, приписываемые вмешательству потусторонних сил. Существуют другие издания того же вида и на том же языке, собранные с большой тщательностью и несомненной точностью. Порой, пожалуй, несколько шаблонные, подчас скучные, иногда ребячливые, предания эти, собранные со столь неослабным рвением, тем не менее являются новым шагом в исследовании истории человечества, и если сопоставить их с материалами аналогичных сборников, составленных в других странах, то обнаруживаются признаки их общего происхождения из единой группы сказаний, распространенных среди самых разных племен рода человеческого. К каким выводам приходим мы, узнав, что ютландцы и финны рассказывают своим детям те же легенды, какие можно услышать в детской маленького испанца или итальянца, и что наши собственные ирландские или шотландские

предания совпадают с народными сказаниями русских? Уж не вытекает ли это сходство из ограниченности человеческого воображения, когда одни и те же вымыслы приходят на ум самым различным авторам в удаленных друг от друга странах, подобно тому как разные виды растений обнаруживаются в таких районах мира, куда они никак не могли быть перенесены из других мест? Или, быть может, правильней возвести те и другие предания к некоему общему праисточнику, существовавшему в те времена, когда род человеческий составлял всего лишь одну большую семью, и, подобно тому как языковеды прослеживают в самых разных диалектах фрагменты единого общего языка, так, возможно, и собиратели старины могли бы в будущем распознать в легендах удаленных друг от друга стран части некогда существовавшей единой группы преданий? Мы не станем задерживаться на этих вопросах и лишь в общих чертах заметим, что, собирая эти памятники старины, трудолюбивые их издатели проливают свет не только на историю своего собственного народа, но вообще на всю историю человечества. Обычно в устном предании имеется и некоторая доля истины наряду с обилием вымысла и с еще большим обилием преувеличений; поэтому они могут порой неожиданно подтвердить или опровергнуть скудные данные какой-нибудь древней летописи. Случается также, что легенды, рассказанные простыми людьми, добавляют особые характерные черты, местный колорит и подробности реальных эпизодов, сохранившиеся у них в памяти, и этим придают живое дыхание сухому и холодному повествованию, воспроизводящему одни только факты, лишенные тех драгоценных деталей, которые только и могут сделать его интересным и запоминающимся. Мы бы хотели, однако, рассмотреть эти народные предания, сведенные в сборники, и с другой точки зрения, а именно - как особый способ воспроизведения в литературе чудесного и сверхъестественного. И тут мы должны признать, что тот, кто станет вчитываться в этот обширный свод повестей о злых духах, привидениях и чудесах, надеясь почувствовать то близкое к ужасу замирание сердца, которое и является самым очевидным триумфом сверхъестественного, будет, вероятно, разочарован. Целый сборник повестей о привидениях столь же мало возбуждает страх, как книга анекдотов – охоту смеяться. Многочисленные истории на одну и ту же тему способны полностью исчерпать интерес к ней; так, человек, попавший впервые в большую картинную галерею, с непривычки оказывается столь подавленным разнообразием сверкающих и переливающихся красок, что он уже не в состоянии разобраться в достоинствах тех картин, которые заслуживают его внимания. И все же, несмотря на этот важный недостаток, неизбежный в подобного типа изданиях, читатель, если он не лишен воображения, если он способен преодолеть узы реальности и возбудить в душе своей то сочувствие, на какое обычно и рассчитана простая и незамысловатая народная легенда, найдет в ней для себя немало интересного, обнаружит в ней черты естественности убедительности, и пусть эта легенда не в ладу с трезвой истиной, тем не менее в ней есть нечто, чему наш разум не прочь поверить, какое-то правдоподобие, которого при самом большом старании не достичь ни поэту, ни прозаику. В таких случаях читателя больше убеждает пример, чем простое утверждение, и мы выбрали с этой целью письмо, полученное нами много лет тому назад от одного любезного и образованного джентльмена, недавно покинувшего этот мир и отличавшегося как тягой к науке, так и пристрастием к литературе во всех ее разветвлениях.

7. Прочитав отрывком из «Гения христианства» Шатобриана (повесть «Рене»), ответьте на вопрос, в чем своеобразие романтического героя в этой повести. Сравните его с байроническим героем.

Приехав к натчесцам, Ренэ был вынужден взять себе жену, в соответствии с нравами индейцев; но он совершенно не жил с ней. Склонность к меланхолии увлекала его в глубь лесов; он проводил там целые дни в полном одиночестве и казался диким между дикими. Он отказывался от каждого сношения с людьми, за исключением Шактаса

{Гармонический голос}, приемного отца, и отца Суэля, миссионера в форте Розалия {французская колония в Натчесе}. Эти два старца взяли большую власть над ним: первый своей мягкой уступчивостью, второй, наоборот, - крайней строгостью. После охоты на бобров, когда слепой сашем {старик или советник} рассказал Ренэ свои приключения, Ренэ никогда не желал говорить о своих. Между тем Шактасу и миссионеру очень хотелось узнать, какое горе привело знатного европейца к странному решению укрыться в пустыне Луизианы. Ренэ всегда об'яснял свой отказ тем, что его история мало интересна и ограничивается, говорил он, историей его мыслей и чувств.

- Что касается события, заставившего меня поехать в Америку, - прибавлял он, - то я должен хранить его в вечном забвении.

Несколько лет прошло таким образом, и старцам не удалось выведать у Ренэ его тайну. Письмо, полученное им из Европы через бюро иностранных миссий, до такой степени увеличило его грусть, что он стал избегать даже старых друзей. И они еще с большей настойчивостью стали просить его открыть им свое сердце; в эти просьбы они вложили столько вдумчивости, кротости и влиятельности, что он принужден был наконец уступить им. Итак, он условился с ними о дне, когда расскажет им не о приключениях своей жизни, так как их у него не было, но о тайных переживаниях своей души.

21-го числа того месяца, который дикари называют луной цветов, Ренэ отправился в хижину Шактаса. Он подал руку сашему и повел его под тень сассафра, на берег реки Мешасебе {настоящее название Мисиссипи или Мешассипи}. Отец Суэль не замедлил явиться на свидание. Занималась заря; на некотором расстоянии в равнине можно было заметить деревню натчесов с тутовой рощей и хижинами, похожими на пчелиные ульи. Французская колония и форт Розалия виднелись направо, на берегу реки. Палатки, дома, наполовину выстроенные, строящиеся форты, распаханные поля, Покрытые неграми, группы белых и индейцев, выявляли на этом маленьком пространстве контраст между цивилизованными нравами и дикими нравами.

К востоку, на самом горизонте, солнце начинало показываться между разрозненными вершинами Апалака, которые лазурными буквами вырисовывались на золоченых высотах неба; на западе Мешасебе катила свои волны в величественном молчании и с непостижимым размахом замыкала края картины.

Юноша и миссионер некоторое время любовались этой прекрасной сценой, жалея сашема, который не мог больше наслаждаться ею; затем отец Суэль и Шактас уселись на траву у подножия дерева; Ренэ выбрал место посередине и после минутного молчания сказал своим старым друзьям:

– Начиная свой рассказ, я не могу сдержать в себе прилива стыда. Мир ваших сердец, почтенные старцы, и спокойствие окружающей меня природы заставляют меня краснеть от тревоги и волнения моей души.

Как вы станете жалеть меня! Какими ничтожными покажутся вам мои вечные беспокойства! Вы, исчерпавшие все жизненные печали, что вы думаете о юноше без сил и без добродетели, который в себе самом находит тревогу и может пожаловаться лишь на горе, которое он сам себе причиняет? Увы! не осуждайте его – он был слишком наказан!

Я стоил жизни моей матери, появляясь на свет: я был вырван из ее чрева железом. У меня был брат, которого благословил мой отец, видевший в нем старшего сына.

А я, с младенческих лет предоставленный чужим рукам, воспитывался вдалеке от отцовского крова.

Я был непреклонного нрава, с неровным характером. То шумливый и веселый, то молчаливый и грустный, я собирал вокруг себя своих юных товарищей; затем, вдруг покинув их, я садился в стороне, наблюдая за бегущим облаком или слушая, как дождь падает в древесную листву.

Каждую осень я возвращался в отцовский замок, расположенный в лесах у озера, в отдаленной провинции.

Застенчивый и натянутый вблизи отца, я чувствовал себя свободно и хорошо лишь со своей сестрой Амели. Приятная общность настроений и вкусов тесно связывала меня с ней. Мы любили вместе взбираться на холмы, плавать по озеру, бродить в лесу при листопаде: это - прогулки, воспоминание о которых еще наполняет восторгом мою душу. О, несбыточные мечты детства и родины, никогда не утратите вы вашей сладости!

Мы шли то молча, прислушиваясь к глухому завыванию осени или к шелесту сухих листьев, печально попадавшихся нам под ноги; то, увлекаясь невинной игрой, бросались в долине за ласточкой, за радугой на орошенных дождями холмах; иногда мы шептали стихи, рожденные созерцанием природы. В юности я был поклонником муз; нет ничего поэтичнее, чем сердце в шестнадцать лет, со свежестью страстей. Утро жизни, подобно утру дня, полно ясности, образности и гармонии.

В воскресные и праздничные дни я часто слыхал в лесу доносившиеся сквозь деревья звуки отдаленного колокола, призывавшего в храм людей, трудившихся на нивах. Прислонившись к стволу ивы, я слушал в молчании благочестивый шепот. Каждый отзвук металла наполнял мою наивную душу невинностью сельских нравов, спокойствием одиночества, обаянием религии и упоительной меланхолией воспоминаний моего раннего детства! О, какое бы самое плохое сердце не затрепетало при перезвоне колоколов родного гнезда, колоколов, которые дрожали от радости над его колыбелью, оповещая о его появлении в жизнь, отмечая первое биение его сердца и сообщая всем в окрестности о душевном подъеме отца и о страданиях вместе с несказанной радостью его матери! Все заключено в волшебных грезах, и которые нас уводит звон родимого колокола: религия, семья, родина и колыбель, и могила, и прошлое, и будущее.

Правда, больше чем кому-либо другому, эти глубокие и нежные мысли приходили в голову нам с Амели потому, что у нас обоих в глубине сердца таилось немного грусти: мы получили ее от бога или от нашей матери.

Между тем, отец мой внезапно был сражен болезнью, которая через несколько дней свела его в могилу. Он скончался на моих руках. Я воспринял смерть на губах того, кто даровал мне жизнь. Это впечатление было громадно: оно живо до сих пор. Тогда впервые моим взорам ясно представилось бессмертие души. Я не мог допустить, чтобы это бездушное тело было творцом моей мысли; я почувствовал, что эта мысль должна была явиться во мне из другого источника, и, полный святой печали, роднящейся с радостью, я исполнился надежды когда-нибудь соединиться с духом моего отца.

Другое явление утвердило меня в этой высокой идее. Черты моего отца приняли в гробу оттенок чего-то возвышенного. Отчего? Не является ли эта удивительная тайна признаком нашего бессмертия? Отчего бы всезнающей смерти не запечатлеть на челе своей жертвы тайны иного мира? Почему бы не таить могиле какого-нибудь великого образа вечности?

Амели, убитая горем, замкнулась в башне, где она слышала доносившиеся под своды готического замка голоса священников, сопровождавших похоронную процессию, и звуки погребальных колоколов.

Я проводил моего отца к его последнему приюту; земля сомкнулась над его останками; вечность и забвение навалились на него всей своей тяжестью: в тот же вечер равнодушный прохожий шагал по его могиле; для всех, за исключением его сына я дочери, он точно никогда и не жил.

Пришлось покинуть родительский кров, перешедший в наследство к моему брату: мы с Амели переехали к старым родственникам.

Стоя на обманчивом перепутьи жизни, я обдумывал различные дороги, не осмеливаясь вступить ни на одну из них. Амели часто говорила мне о радости монашеской жизни; она уверяла меня, что я был единственной нитью, удерживавшей ее в свете, и глаза ее с печалью останавливались на мне.

Глубоко растроганный этими благочестивыми беседами, я часто направлялся к монастырю, который находился по соседству с нашим новым жилищем. Однажды даже

мне хотелось укрыть в нем свою жизнь. Счастливы те, кто кончает свой путь, не покидая гавани, и не влачат, подобно мне, бесполезных дней на земле!

Европейцы, постоянно живущие в треволнениях, должны создавать для себя уединение. Чем сердце наше мятежнее и тревожнее, тем больше привлекают нас спокойствие и тишина. Такие убежища на моей родине, открытые для несчастных и слабых, часто скрыты в долины, таящие расплывчатые представления о бедствиях и надежду укрыться от них; порой убежища эти строят на вершинах, где благочестивая душа, как горное растение, словно поднимается к небу, неся ему свое благоухание.

Я еще вижу величественную гармонию вод и лесов этого старинного аббатства, где я надеялся укрыть мою жизнь от превратностей судьбы. Я точно брожу еще на закате дня по монастырским переходам, гулким и пустынным. Когда луна освещала до половины столбы колоннад, вырисовывая их тени на противоположной стене, - я останавливался, смотря на крест, обозначающий область смерти, и на высокую траву, проросшую между могильными камнями. О, люди, долго жившие вдали от света и перешедшие от безмолвия жизни к безмолвию смерти, каким отвращением к земле наполняли мое сердце ваши могилы!

По природному ли непостоянству или по предубеждению к монашеской жизни, я переменил свое намерение и решил путешествовать. Я простился с сестрой; она обняла меня с порывом, похожим на радость, словно она была довольна разлукой со мной; я не мог удержаться от горьких размышлений о непостоянстве человеческой дружбы.

Однако, исполненный пыла, я одиноко ринулся в бурный океан мира, не ведая ни его гаваней, ни подводных рифов. Прежде всего я посетил отжившие народы: я бродил, отдыхая, на развалинах Рима и Греции, развалинах стран, полных великих и поучительных воспоминаний, где дворцы засыпаны прахом, а мавзолеи царей скрыты под терновником. Сила природы и слабость человека: маленькие былинки часто пробиваются сквозь самый крепкий мрамор этих гробниц, плиты которых никогда уже не приподнимут все эти мертвецы, такие могучие в жизни!

Иногда среди пустыни виднелась одна высокая колонна.

Я размышлял на этих руинах о всех событиях и во все часы дня. Порой солнце, то самое, которое видело закладку этих городов, величественно закатывалось на моих глазах за развалины; порой луна, восходя на ясном небе между двумя погребальными, полуразбитыми урнами, являла предо мной бледные гробницы. Часто при лучах этого светила, располагающего к мечтам, мне казалось, что рядом со мною сидит дух воспоминаний, погруженный в задумчивость.

Но меня утомляло это копание в могилах, где я слишком часто перебирал лишь преступный прах.

Мне хотелось видеть, не откроют ли живущие ныне народы предо мной больше добродетелей или по крайней мере меньше бедствий, чем народы исчезнувшие. Гуляя однажды по большому городу и проходя позади одного дворца, по заброшенному и пустынному двору, я увидел статую, указывавшую пальцем на место, ознаменованное жертвой {В Лондоне, за Уайт-Холлом, статуя Карла I, казненного революционным дворянством Англии}. Меня поразило безмолвие этого места: только один ветер завывал вокруг трагического мрамора. Рабочие равнодушно лежали у подножия статуи или, насвистывая, обтесывали камни. Я спросил их, что означает этот памятник? Одни едва могли мне ответить, другие совсем не знали о катастрофе, которую он отмечал. Ничто не давало мне более верного мерила жизненных событий и нашего ничтожества. Что сталось с этими людьми, наделавшими столько шума? Время сделало только один шаг, и вид земли совсем изменился.

Во время путешествий особенно я разыскивал художников и тех дивных людей, которые воспевают на лире богов и блаженство народов, чтут законы, религию и могилы.

Эти певцы принадлежат к божественной породе, они обладают одним неоспоримым даром, ниспосланным небом земле. Жизнь их вместе и наивна и возвышенна; они прославляют богов золотыми устами, а сами они наиболее скромные из людей, они разговаривают, как бессмертные или как малые дети; они объясняют законы вселенной, а не могут понять самых невинных житейских дел; они имеют чудесное представление о смерти, а умирают, не замечая этого, точно новорожденные.

На холмах Каледонии последний бард, которого слышали в тех пустынях, пропел мне поэмы, которыми герой некогда утешал свою старость. Мы сидели на четырех камнях, обросших мхом; у наших ног струился поток; в некотором отдалении между развалинами башни проходила дикая коза, и морской ветер завывал в вересках долины Кона. Ныне христианская религия, дочь высоких гор, воздвигла кресты на памятниках героев Морвена и прикоснулась, к арфе Давида на берегу того самого потока, где Оссиан вызывал стоны из твоей арфы. Эта религия, столь же миролюбивая, сколь божества Сельмы были воинственны, пасет стадо там, где Фингал давал свои битвы: она населила ангелами мира облака, наполненные прежде смертоносными призраками.

Старинная и веселая Италия раскрыла предо мной груду своих художественных произведений. С каким священным и поэтическим трепетом бродил я по этим обширным зданиям, посвященным религии, искусствам! Какой лабиринт колонн! Какой ряд арок и сводов! Как прекрасны эти постоянные шумы вокруг соборов, похожие на рокот волн океана, на шепот ветров в лесу или на голос бога в его храме! Архитектор воплощает, так сказать, идеи поэта и делает их осязаемыми для чувств.

Однако чему же я до сих пор научился, утомляя себя таким образом? Ничему прочному у древних, ничему прекрасному у современников. Прошедшее и настоящее - это две несовершенных статуи: одна была вынута совсем

Но, быть может, мои старые друзья, вы как жители пустыни, вы особенно удивляетесь тому, что в этом рассказе о моих путешествиях я ни разу не упомянул о памятниках природы?

Однажды я поднялся на вершину Этны, вулкана, дымящегося посреди одного острова. Я видел, как взошло солнце на необъятности горизонта, вверху надо мной; Сицилию, стиснутую, словно, в одну точку, у моих ног, и море, расстилавшееся вдаль, в безграничное пространство. В этом отвесном положении реки казались мне лишь географическими линиями, начертанными на карте; но в то время как глаз мой с одной стороны обнимал все эти предметы, с другой он погружался в кратер Этны, пылающие внутренности которой я различал среди клубов черного пара.

Юноша, полный страстей, сидящий у кратера вулкана и оплакивающий смертных, жилища которых он едва различает, достоин лишь вашего сожаления, о старцы; но, что бы вы ни думали о Ренэ, эта картина дает вам изображение его характера и его жизни: точно так, в течение всей моей жизни я имел перед глазами создание необъятное и вместе неощутимое, а рядом с собой зияющую пропасть.

Произнеся эти последние слова, Ренэ замолк и погрузился в задумчивость. Отец Суэль смотрел на него с удивлением, а старый слепой сашем, не слыша больше голоса молодого человека, не знал, чем объяснить его молчание.

Глаза Ренэ были прикованы к группе индейцев, весело проходивших по равнине. Вдруг на лице его появилось умиление, из глаз потекли слезы, он воскликнул:

– Счастливые дикари! О, отчего я не могу наслаждаться миром, никогда вас не покидающим! В то время как я, извлекши так мало пользы, объезжал столько стран, вы, сидя спокойно под вашими дубами, предоставляли дни мирному течению, не считая их. Ваш разум ограничивался вашими потребностями, и вы лучше меня исполнялись мудрости, как дитя, живущее среди игр и сна. Если меланхолия, порождаемая избытком счастья, иногда и касалась вашей души, вы скоро сбрасывали с себя эту мимолетную грусть, и ваш взгляд, поднятый к

Здесь голос Ренэ снова замер, и молодой человек опустил голову на грудь. Шактас протянул руку во мрак и, взяв своего сына за руку, сказал ему растроганным голосом:

– Сын мой! Дорогой сын мой!

При этих словах брат Амели пришел в себя и, устыдясь своего волнения, попросил отца извинить его. Тогда старый дикарь сказал:

– Мой юный друг, порывы такого сердца, как твое, не могут быть всегда одинаковы: сдерживай только свой характер, уже причинивший тебе столько зла. Если все житейское заставляет тебя страдать больше всякого другого, то не надо этому удивляться: большая душа должна вмещать в себе больше страдания, чем мелкая. Продолжай свой рассказ. Ты описал нам одну часть Европы, познакомь же нас и с другой. Ты знаешь, что я видел Францию; ты знаешь, какие узы связывают меня с ней: мне хотелось бы услышать о великом вожде (Людовик XIV), которого уже нет на земле и замечательную хижину которого я посетил. Дитя мое, я живу лишь памятью. Старик со своими воспоминаниями похож на дряхлый дуб наших лесов: этот дуб уже не украшается собственной листвой, но покрывает иногда свою наготу другими растениями, выросшими на его старых ветвях.

Брат Амели, успокоенный этими словами, продолжал рассказывать историю своего сердца.

– Увы, отец мой, я не могу ничего сказать тебе об этом великом веке, так как видел в своем детстве только конец его, и его уже не было, когда я вернулся на родину. Никогда не совершалось более поразительной и внезапной перемены в народе. От высоты духовности, от почитания религии и от строгости нравов все внезапно обратилось к извивам ума, к безбожию и распущенности.

Поэтому я совершенно тщетно надеялся найти на своей родине нечто, что бы успокоило ту тревогу, тот пыл желания, которые всюду преследовали меня. Знакомство с миром ничему не научило меня, а между тем, я уже утратил сладость неведения.

Моя сестра, ведя себя необъяснимо для меня, казалось, находила удовольствие в том, чтобы увеличивать мою грусть; она уехала из Парижа за несколько дней до моего приезда. Я написал ей, что намерен поехать к ней; она поспешила мне ответить, чтобы отвлечь меня от этого плана под предлогом, что ей еще неизвестно, куда она отправится оттуда по делам. Какие грустные и горькие размышления о дружбе приходили тогда мне на ум: присутствие охлаждает ее, отсутствие – уничтожает, она не может устоять перед несчастьем и еще менее перед благополучием!

Вскоре я очутился более одиноким на моей родине, чем был на чужбине. Я захотел на некоторое время броситься в мир, ничего мне не говоривший и не понимавший меня. Душа моя, еще не опороченная ни одной страстью, искала предмета, к которому бы могла привязаться; но я заметил, что давал больше, чем получал. От меня не требовали ни возвышенных речей, ни глубокого чувства. Я занимался только тем, что суживал свою жизнь, чтобы снизить ее до уровня общества. Признаваемый всеми умом романтическим, стыдясь роли, которую я играл, чувствуя все большее и большее отвращение к вещам и людям, я решился удалиться в предместье и жить там в полной неизвестности.

Сначала мне нравилась эта темная и независимая жизнь. Никому неведомый, я вмешивался в толпу, эту обширную пустыню людей.

Часто, сидя в какой-нибудь малопосещаемой церкви, я проводил целые часы в размышлениях. Я видел, как бедные женщины повергались ниц перед всевышним, как грешники покаянно преклонялись перед судилищем. Никто не выходил оттуда без просветленного лица, и казалось, что глухой шум, слышавшийся извне, был не что иное, как волны страстей и мирские бури, стихавшие у подножья храма. Великий боже, видевший, как слезы мои тайно текли в этих святых убежищах, тебе известно, сколько раз я бросался к твоим стопам, чтобы умолять тебя снять с меня бремя жизни или изменить во мне прежнего человека! Ах, кто иногда не испытал потребности переродиться, обновиться в водах потока, подкрепить свою душу в источнике жизни? Кто не чувствовал себя

подавленным бременем собственной испорченности и бессильным для всего великого, благородного, справедливого?

Когда наступал вечер, я возвращался к себе в дом, я останавливался на мостах, чтобы полюбоваться закатом солнца. Светило, воспламенив городские туманы, казалось, медленно покачивалось в золотой жидкости, словно маятник на часах веков. Я шагал вместе с ночью по лабиринту пустынных улиц. Смотря на огни, светившиеся в человеческих жилищах, я переносился мыслью к веселым или печальным сценам, ими освещаемым, и думал, что под столькими крышами у меня не было ни одного друга. Мои размышления прерывались мерными ударами часов с башни готического собора; эти удары повторялись на все тоны от церкви к церкви. Увы, каждый час в мире открывает могилу и заставляет проливать слезы.

Такая жизнь, сначала восхищавшая меня, вскоре сделалась совсем невыносимой. Мне надоело постоянное возвращение одних и тех же сцен и мыслей. Я принялся исследовать свое сердце, допрашивать себя, что я желаю. Я сам не знал этого; но вдруг мне показалось, что леса будут усладой для меня, и вот я внезапно решил окончить в сельском изгнании жизнь, едва начатую, но в течение которой я прожил целые века.

Я предался этому плану со страстью, которую вкладывал во все свои намерения; я поспешно уехал, чтоб похоронить себя в хижине, точно так, как прежде отправился в кругосветное путешествие.

Меня обвиняют в том, что я непостоянен, что я не могу долго увлекаться одной и той же химерой, что я представляю собой жертву собственного воображения, которое спешит добраться до дна удовольствий, точно его тяготит их длительность; меня обвиняют в том, что я вечно прохожу мимо цели, которую могу достичь. Увы, я только ищу неведомое благо, влечение к которому меня преследует. Разве я виноват, что всюду вижу преграды, что все, что кончено, не имеет для меня никакой цены? Между тем, я чувствую, что люблю однообразие жизненных ощущений и если бы я еще имел безумие верить в счастье, то стал бы искать его в привычке.

Полное одиночество, созерцание природы погрузили меня вскоре в неописуемое состояние. Без родных, без друзей на земле, если можно так выразиться, еще не разу не любив, я был подавлен преизбытком жизни. Иногда я внезапно краснел и чувствовал, как к моему сердцу приливали потоком пылающей лавы; иногда я невольно вскрикивал, и ночью меня тревожили мои сны, как и бессонница. Мне чего-то не хватало для наполнения пропасти моего существования: я спускался в долину, поднимался на гору, призывая всеми силами своих желаний идеальный образ моей грядущей страсти, я обнимал его на ветру, воображая, что слышу в рокоте реки; все превращалось в этот воображаемый призрак - и звезды на небе, и даже самое начало жизни во вселенной.

Во всяком случае такое состояние спокойствия и тревоги, скудности и богатства имело некоторую прелесть. Однажды я забавлялся тем, что обрывал над ручейком листья с ивовой ветки и с каждым листочком, уносимым потоком, связывал какую-нибудь мысль. Король, трепещущий за свою корону при внезапно вспыхнувшей революции, не испытывает более сильной тревоги, чем я при каждом моменте, грозившем обломкам моей ветки. О, слабость смертных! О, детство человеческого сердца, никогда не стареющего! Вот до какой степени ничтожества может пасть наш великий разум! А ведь сколько людей связывают свою судьбу с вещами, такими же ничтожными, как мои листья ивы.

Но как выразить кучу мимолетных ощущений, наполнявших меня во время моих прогулок? Отзвуки страстей в пустоте сердца походят на шум ветров и журчание вод в безмолвии пустыни: ими наслаждаются, но их нельзя описать.

Осень застала меня в этих колебаниях: я с восторгом вступил в месяцы бурь. То я желал быть одним из воинов, блуждавших среди ветров, туч и видений, то я завидовал доле пастуха, который грел руки на жалком огне из хвороста, зажженного им у лесной опушки. Я слушал его меланхоличные песни, напоминавшие мне, что во всех странах

пение человека от природы всегда грустно, даже когда оно выражает счастье. Сердце наше - инструмент неполный, лира, в которой недостает струн и на которой нам приходится выражать радость тоном, обычно выражающим скорбь.

Днем я бродил по большим зарослям вереска, переходившим в лес. Как мало нужно было для моей мечтательности! Сухой лист, гонимый предо мною ветром, хижина, дым, который поднимался до обнаженной вершины деревьев, мох на стволе дуба, трепещущий при северном дуновении, отдаленный утес, пустынный пруд, где шумел увядший тростник! Одинокая колокольня, возвышавшаяся вдалеке в долине, часто привлекала мои взоры; я тоже следил глазами за прелестными птицами, пролетавшими над моей головой. Я представлял себе неизвестные берега, отдаленные страны куда они направлялись; мне бы хотелось очутиться на их крыльях. Тайный инстинкт мучил меня; я чувствовал, что сам я только странник, но голос с неба как бы говорил мне:

– Человек, время твоего переселения еще не настало; подожди ветра смерти: тогда ты направишь свой полет в те неизвестные области, которых ищет твое сердце.

«Поднимитесь скорее, вы, желанные бури, которые должны перенести Ренэ в пространство другой жизни!» Говоря это, я шел большими шагами, с пылающим лицом, с волосами, развеваемыми ветром, не чувствуя ни дождя, ни мороза, упоенный, терзаемый и словно одержимый демоном моего сердца.

Ночью, когда северный ветер шатал мою хижину, когда дождя потоками лились на крышу, когда я смотрел в окно, как луна бороздила накопившиеся облака, словно бледное судно, взрывающее волны, мне казалось, что жизнь удваивается в глубине моего сердца, что я обладаю властью творить миры. Ах, если бы я мог разделить с кем-нибудь переживаемые мною восторги. О господи, если бы ты дал мне жену, какую мне надо; если бы, как нашему первому отцу, ты привел ко мне за руку Еву, вынутую из меня самого... Небесная красота, я преклонился бы перед тобою, потом, приняв тебя в свои объятия, я бы стал молить предвечного, чтобы он позволил мне отдать тебе остаток моей жизни!

Увы, я был один, один на земле! Тайное томление овладело всем моим телом. Отвращение к жизни, знакомое мне с самого детства, возвратилось с новой силой. Вскоре мое сердце перестало давать пищу моей мысли, и я замечал свое существование только по чувству глубокой тоски.

Некоторое время я боролся со своим недугом, но с равнодушием и без твердого намерения побороть его. Наконец, не находя средств против той странной раны моего сердца, которой не было нигде и которая была повсюду, я решил покинуть жизнь.

Жрецы всевышнего, слушающие меня, простите несчастного, которого небо почти лишило рассудка. Я был полон благочестия, а рассуждал, как безбожник; сердце мое любило бога, а ум не признавал его; мое поведение, мои речи, мои чувства, мои мысли были лишь противоречиями, мраком, ложью. Но всегда ли знает человек, чего он хочет? Всегда ли он уверен в том, что думает?

Все сразу ускользало от меня: дружба, мир, уединение. Я все испробовал, и все оказалось для меня роковым. Отвергнутый обществом, покинутый Амели, когда и одиночество покидало меня, что оставалось мне еще? Это была последняя доска, на которой я надеялся спастись, и я чувствовал, что и она погружается в пучину.

Решась избавиться от бремени жизни, я захотел вложить весь свой разум в это бессмысленное дело. Ничто не торопило меня; я не назначал минуты отхода, с тем чтобы понемногу вкушать последние минуты жизни и собрать все силы, чтобы, по примеру одного древнего, чувствовать, как душа моя будет оставлять меня.

Однако я счел необходимым сделать распоряжение относительно своего имущества и вынужден был написать Амели. У меня вырвалось несколько жалоб насчет того, что она забыла меня и, без сомнения, промелькнула нежность, мало-помалу овладевавшая моим сердцем. Но я все же думал, что хорошо скрыл свою тайну, однако, сестра, привыкшая читать в тайниках моей души, ее легко разгадала. Она была

встревожена принужденностью моего письма и моими расспросами о делах, которыми я никогда не занимался. Вместо ответа она неожиданно приехала ко мне.

Чтобы хорошо почувствовать, как велика была впоследствии горечь моих страданий и какова была моя первая радость при свидании с Амели, вы должны знать, что она была единственным существом на свете, любимым мной, что все мои чувства сосредоточивались на ней со всей сладостью воспоминаний детства. Итак, я принял Амели в каком-то сердечном экстазе. Так давно уже я не сталкивался ни с кем, кто бы понимал меня, кому бы я мог открыть свою душу.

Амели, бросаясь в мои объятия, сказала: «Неблагодарный, ты хочешь умереть, когда у тебя есть сестра! У тебя подозрения насчет ее сердца. Не объясняйся, не оправдывайся, я все знаю; я все поняла, точно была с тобою. Разве можно обмануть меня, видевшую зарождение твоих первых чувств? Вот твой несчастный характер, твое отвращение ко всему, твоя несправедливость! Клянись сейчас, пока я сжимаю тебя в своих объятиях, клянись, что в последний раз поддался своему безумию, дай мне клятву, что никогда не покусишься на свою жизнь!»

Говоря это, Амели смотрела на меня с состраданием и нежностью и покрывала мой лоб поцелуями, почти как мать или еще нежнее. Увы, сердце мое открылось для всех радостей; как дитя, я нуждался только в утешении; я поддался влиянию Амели. Она потребовала торжественной клятвы; я дал ее без колебания, даже не подозревая, что с тех пор мог быть несчастен. Больше месяца мы втягивались в наслаждение быть вместе. Когда утром, вместо того чтобы быть одному, я слышал голос сестры, я вздрагивал от радости и счастья. Амели получила от природы нечто божественное: душа ее имела ту же невинную грацию, что и тело; мягкость ее чувств была беспредельна, в уме ее не было ничего, кроме нежного и немного мечтательного, точно ее сердце, мысль и голос вздыхали заодно; от женщины она заимствовала застенчивость и любовь, от ангела - чистоту и мелодичность.

Настал момент, когда я должен был ответить за всю свою непоследовательность. В своем сумасбродстве я желал даже испытать несчастье, чтобы иметь по крайней мере реальную причину страдания: это было ужасное желание, и бог в своем гневе чересчур усердно исполнил его!

Что предстоит мне открыть вам, друзья мои! Смотрите на слезы, льющиеся из моих глаз. Смогу ли я даже... Несколько дней назад ничто бы не вырвало у меня моей тайны... Но теперь, когда все кончено!

Во всяком случае, о старцы, пусть эта история покоится под вечным

Уже кончалась зима, когда я заметил, что Амели теряет покой и здоровье, которые она начала возвращать мне. Она похудела, глаза ее ввалились, походка сделалась вялой, голос тревожным. Однажды я застал ее всю в слезах у подножия распятия. Свет, одиночество, мое отсутствие, мое присутствие, ночь, день – все тревожило ее. Невольные вздохи замирали на ее устах: то она без всякой усталости выносила длинную прогулку, то едва передвигала ноги: она бралась за работу, и бросала ее, открывала книгу, но не могла читать, начинала фразу и, не окончив ее, вдруг заливалась слезами и удалялась к себе для молитвы.

Напрасно старался я раскрыть ее тайну. Когда я расспрашивал ее, сжимая в своих объятиях, она отвечала с улыбкой, что она сама не знает, что с ней.

Так прошло три месяца, и состояние ее с каждым днем ухудшалось. Мне казалось, что ее таинственная переписка была причиной ее слез, так как она казалась то более спокойной, то более взволнованной, смотря по письмам, ею получаемым. Наконец, как-то утром, видя, что давно пришел час, когда мы обыкновенно завтракали, я поднялся к ней; стучусь и не получаю ответа; приотворяю дверь – в комнате нет никого. На камине вижу конверт, адресованный мне. Весь дрожа, хватаю его, распечатываю и читаю следующее письмо, которое сохраняю, чтобы отнять у себя в будущем всякое стремление к радости:

«Ренэ!

Беру небо в свидетели, брат мой, что я готова тысячу раз пожертвовать жизнью, чтобы избавить вас от минутного горя; но я, несчастная, ничего не могу сделать для вашего счастья. Поэтому простите меня за то, что я убежала от вас, как преступница; я не могла бы устоять перед вашими просьбами, а между тем, надо было уехать... Боже мой, сжалься надо мной!

Вы знаете, Ренэ, что у меня всегда была склонность к монастырской жизни. Пора воспользоваться предостережением неба. Отчего я ждала так долго? Бог наказывает меня за это. Я для вас оставалась в мире... Простите, волнение разлуки с вами совсем расстроило меня.

Теперь я чувствую, дорогой брат мой, необходимость этих убежищ, против которых вы так часто восставали. Есть несчастия, навеки разлучающие нас с людьми. Что бы сталось тогда с бедными, несчастными людьми? Я уверена, что и вы сами, брат мой, нашли бы покой в этих благочестивых убежищах: земля не дает ничего, достойного вас.

Я вовсе не стану напоминать вам о вашей клятве: я знаю верность вашего слова. Вы поклялись и будете жить для меня. Есть ли что-нибудь более жалкое, чем постоянно носиться с мыслью покинуть жизнь... Для человека с вашим характером так легло умереть. Поверьте вашей сестре, жить гораздо труднее.

Но, брат мой, возможно скорее расстаньтесь с одиночеством, оно не годится для вас; поищите себе какое-нибудь применение. Я знаю, как вы горько смеетесь над необходимостью для всех во Франции выбирать себе положение. Не презирайте все же опыта и мудрости наших отцов. Лучше, мой дорогой Ренэ, несколько больше походить на всех людей и иметь несколько меньше страданий.

Быть может, в браке вы обретете облегчение от вашей тоски. Жена, дети наполнят, пожалуй, ваши дни. А какая женщина не постарается осчастливить вас! Пылкость вашей души, красота вашего ума, ваш благородный и страстный вид, этот взгляд, гордый и нежный, - все обеспечивает вам ее любовь и ее верность. О, с какой усладой она заключит тебя в свои об'ятия и прижмет к своему сердцу! Как все взгляды ее, все мысли будут сосредоточены на тебе, чтобы предупредить твою самую маленькую печаль; она будет сама любовь, сама невинность перед тобою; тебе будет казаться, что ты снова обрел сестру.

Я уезжаю в монастырь... Этот монастырь, построенный на берегу моря, подходит к состоянию моей души. Ночью в своей келье я буду слышать ропот волн, омывающих стены монастыря; я буду думать о наших прогулках по лесам, когда шепчущие вершины сосен напоминали нам шум моря. Милый спутник моего детства, неужели я больше не увижу вас? Я лишь немного старше вас, и я качала вас в колыбели; часто мы спали вместе. Ах, если бы одна могила могла когда-нибудь соединить нас! Но нет: я должна спать одна под холодным мрамором этого святилища, где навеки покоятся девы, которые никогда не любили.

Не знаю, будете ли вы в состоянии прочесть эти строки, полустертые моими слезами. В конце концов, друг мой, рано или поздно нам все-таки пришлось бы расстаться! К чему говорить мне вам о непрочности и малой ценности жизни? Вы помните молодого М., потерпевшего кораблекрушение у берегов Иль-де-Франса. Когда вы получили его последнее письмо, через несколько месяцев после его смерти, его земная оболочка уж не существовала, а когда вы начали носить после него траур в Европе, его кончали носить в Индии. Что же такое человек, если память о нем исчезает так скоро? Одна часть его друзей не может узнать об его смерти без того, чтобы другая уже не утешилась! Ах, дорогой мой, дорогой Ренэ, неужели воспоминания и обо мне так быстро изгладятся из твоего сердца? О, брат мой, если я отрываюсь от вас во времени, то для того, чтобы не разлучаться с вами в вечности!

P. S. Присоединяю к этому письму дарственную запись на мое имущество; надеюсь, что вы не откажетесь от этого знака моей дружбы».

Если бы молния внезапно упала к моим ногам, я не испугался бы больше, чем при чтении этого письма. Какую тайну скрывала Амели от меня? Кто заставил ее так внезапно вступить в монастырь? Неужели она привязала меня к жизни прелестью своей дружбы только для того, чтобы внезапно покинуть меня? Ах, зачем приезжала она отвлекать меня от моего намерения? Порыв сострадания призвал ее ко мне; но вскоре, утомленная тяжелым долгом, она поспешила бросить несчастного, не имевшего на земле никого, кроме нее. Люди воображают, что сделали все, если помешали человеку умереть! Так сетовал я. Потом, думая о себе, я говорил: «Неблагодарная Амели, если бы ты была на моем месте, если бы, как я, ты заблудилась в пустыне твоей жизни, ах, ты не была бы покинута твоим братом!»

Однако, перечитывая письмо, я находил в нем столько грусти и нежности, что сердце мое растаяло. Вдруг у меня явилась мысль, подавшая некоторую надежду: мне показалось, что Амели полюбила кого-то, кого не решалась назвать. Это подозрение, казалось, объясняло ее грусть, ее таинственную переписку и страстный тон ее письма. Я ей немедленно написал, умоляя открыть мне свое сердце.

Она не замедлила ответить мне, но не выдала своей тайны; она только уведомляла меня, что получила отпущение от послушничества и вскоре произнесет монашеский обет.

Я был возмущен упрямством Амели, ее таинственностью и столь малым доверием к моей дружбе.

После минутного раздумья о том, на что мне решиться, я вздумал отправиться в Б., чтобы в последний раз попытаться убедить сестру. Мой путь, лежал через край, где я был воспитан. Увидя леса, в которых я проводил единственно счастливые часы моей жизни, я не мог сдержать своих слез и не устоял против искушения сказать им последнее прости.

Мой старший брат продал унаследованное им отцовское поместье, и новый владелец не жил в нем. Я приехал в замок по длинной пихтовой аллее, прошел пешком по пустынным дворам; я остановился, чтобы взглянуть на закрытые, местами разбитые окна, на чертополох, росший у стен, на кучи листьев, собранных у порога дверей, на пустое крыльцо, где я так часто видел моего отца и его верных слуг. Ступеньки уже поросли мхом. Желтофиоль выросла между его растрескавшимися, расшатанными камнями. Незнакомый сторож поспешно открыл предо мною двери. Я не решался переступить через порог, Он воскликнул:

– Неужели и с вами будет то же, что с незнакомкой, несколько дней назад приезжавшей сюда? Она упала в обморок, войдя сюда, и я принужден был отнести ее в карету.

Мне не трудно было узнать, кто эта незнакомка, которая, как я, приезжала сюда за слезами и воспоминаниями!

Прикрыв на минуту глаза платком, я вступил под кров моих предков. Я прошел по всем гулким комнатам, в которых раздавался только шум моих шагов. Комнаты освещались слабым светом, проникавшим сквозь закрытые ставни. Я зашел в ту, где скончалась моя мать, дав мне жизнь, в ту, где скончался мой отец, в ту, где я спал в своей колыбели, наконец, в ту, где сердце моей сестры получило первые обеты дружбы. Повсюду обои были содраны, и паук ткал свою паутину на покинутых постелях. Поспешно вышел я оттуда и удалился большими шагами, не осмеливаясь оглянуться. Как прекрасны, но как мимолетны те минуты, которые братья и сестры проводят в своем детстве под крылом их старых родителей! Целость семьи человека длится только один день: дуновение божие рассеивает ее, как дым. Сын едва знает отца, отец - сына, брат -

сестру, сестра – брата. Дуб видит, как его желуди пускают ростки вокруг него; но не таков удел детей человека.

Приехав в Б., я велел везти себя в монастырь; там я выразил желание видеть сестру. Мне сказали, что она никого не принимает. Я написал ей. Она мне ответила, что готовится посвятить себя богу и ей запрещено отдать хотя бы одну мысль миру, что если я люблю ее, то не стану удручать ее своим горем. Она прибавляла: «Впрочем, если вы хотите появиться у алтаря в день моего пострижения, то сделайте мне честь заступить, мне место отца: одна только эта роль достойна вашего мужества, только она одна соответствует нашей дружбе и моему покою».

Эта холодная твердость, противопоставленная моей пылкой дружбе, довела меня до сильнейшего исступления. То я готов был вернуться к себе, то хотел остаться исключительно для того, чтобы помешать обряду. Ад внушал мне даже мысль заколоть себя в церкви и слить мои последние вздохи с обетами, отнимавшими у меня сестру. Игуменья монастыря велела предупредить меня, что в алтаре приготовят для меня скамью и что она приглашает меня на службу, назначенную на следующий день.

На заре я услышал первые звуки колоколов... К десяти часам я дотащился до монастыря в состоянии какой-то агонии. Для того, кто присутствовал при подобном зрелище, не может быть ничего более трагичного, и ничего более скорбного для того, кто пережил его. Громадная толпа наполняла церковь. Меня провели на скамью в: алтарь. Я упал на колени, почти не сознавая, где я и на что я решился. Священник уже стоял перед алтарем; вдруг отворяется таинственная решетка и входит Амели, разодетая со всей мирской пышностью. Она была так хороша, на лице ее отражалось нечто столь божественное, что она на один миг возбудила общее изумление и восторг. Побежденный великой скорбью святой, пораженный религии, я забыл о всех своих планах насилия; силы оставили меня, я чувствовал себя связанным мощной рукой и вместо богохульств и угроз нашел в своем сердце глубокое обожание и смиренные стоны. Амели становится под балдахин. Служба начинается при огне светильников, среди цветов и благоуханий, которые должны были придать обаяние обряду. Во время молитвы священник снял с себя верхнюю ризу, оставив на себе лишь льняной хитон, взошел на кафедру и в простой, но трогательной речи обрисовал счастье девственницы, посвящающей себя богу. При его словах: «Она появилась, как ладан, сгорающий на огне», великое спокойствие и небесные ароматы, казалось, распространялись по всей церкви. Все почувствовали себя словно укрытыми под крылом мистической голубки, и казалось, что ангелы спускались на алтарь и поднимались к небу с благоуханиями и венками.

Священник кончает свою проповедь, снова надевает ризу и продолжает службу. Две молодые монахини под руки подвели Амели, и она опустилась на колени на последнюю ступеньку алтаря. Тогда пришли за мною для исполнения обязанности отца. Услыша мои нетвердые шаги по алтарю, Амели едва не лишилась чувств. Меня поставили рядом со священником, чтобы подавать ему ножницы. В эту минуту я почувствовал, что снова впадаю в исступление; ярость моя готова была разразиться, когда Амели, призвав все свое мужество, бросила на меня взгляд, полный такого упрека и такого горя, что я был сражен. Религия восторжествовала. Моя сестра, пользуясь моим смущением, смело протянула голову. Ее великолепные волосы падали со всех сторон под священной сталью. Длинная власяница заменила для нее все современные украшения, нимало не отнимая у нее ее трогательности. Ее лоб с отражавшимися на нем заботами скрылся под льняной повязкой, и таинственное покрывало, символ девственности и чистоты, покрыло ее голову, лишенную волос. Никогда она не казалась более прекрасной. Глаза кающейся были прикованы к мирскому праху, а душа ее была на небе.

Однако Амели еще не произнесла обета, а для того, чтобы умереть для мира, она должна была пройти через могилу. Сестра моя ложится на мрамор, ее покрывают погребальным покровом, а по углам его ставят четыре светильника. Священник в епитрахили, с книгой в руке, начинает панихиду; молодые девушки продолжают ее. О,

наслаждение религии, как велико, но и как ужасно! Меня заставили стать на колени у этого траурного покрова. Вдруг из-под него послышался шепот; я наклоняюсь, и следующие страшные слова поражают мой слух (я один мог их услышать): «Милосердный боже, сделай так, чтобы я не встала с этого погребального ложа, и осыпь твоими щедротами брата, который не разделял моей преступной страсти».

При этих словах, вырвавшихся из гроба, ужасная истина просветила меня; рассудок мой помутился; я упал на саван, сжал сестру в своих объятиях и вскрикнул; «Непорочная невеста Иисуса Христа, получи мои последние объятия сквозь холод смерти и глубины вечности, уже отделяющие тебя от твоего брата!»

Этот порыв, этот возглас и слезы прерывают обряд, священник останавливается, монахини запирают решетку, толпа волнуется и теснится у алтаря. Меня уносят в обмороке. Как мало был я благодарен тем, кто вернул меня к жизни. Открыв глаза, я узнал, что жертва совершилась и что моя сестра заболела горячкой. Она велела просить меня, чтобы я не искал свидания с ней. О, печаль жизни! Сестра боится говорить с братом, а брат боится, чтобы сестра услыхала его голос! Я вышел из монастыря, словно из того чистилища, пламя которого подготовляет нас к жизни небесной, где все потеряно, как в аду, кроме надежды.

Можно найти в душе своей силы против личного несчастия; но быть невольной причиной несчастия другого – совершенно невыносимо. Узнав, в чем заключалась причина мучений моей сестры, я представлял себе, что она должна была выстрадать. Тогда мне стало ясным многое, чего я прежде не понимал: смесь радости и грусти, которую проявляла Амели, когда я отправлялся путешествовать; ее старание избегать меня после моего возвращения и вместе с тем слабость, так долго мешавшую ей вступить в монастырь. Несомненно, несчастная девушка надеялась вылечиться! Ее намерение постричься, хлопоты об отпущении от послушничества и распоряжения об отказе от имущества в мою пользу вызвали, очевидно, таинственную переписку, вводившую меня в заблуждение.

Ах, мои друзья! Так я узнал, что значит проливать слезы о бедствии, далеко не вымышленном. Мои страсти, так долго непроявлявшиеся, накинулись на эту первую жертву с яростью. Я даже находил какое-то неожиданное наслаждение в полноте моего горя и заметил с тайной радостью, что горе - не то чувство, которое исчерпывается, как удовольствие.

Я захотел покинуть землю до приказа всевышнего. Это был великий грех: бог послал мне Амели и для того, чтобы спасти меня и для того, чтобы наказать. Таким образом, всякая греховная мысль влечет за собою смятение и несчастие. Амели просила меня жить, и я обязан был повиноваться ей, чтоб не увеличивать ее терзаний. К тому же – странная вещь! – у меня не было никакого желания умирать с тех пор, как я стал действительно несчастным. Мое горе обратилось в занятие, заполняющее все мое время; до такой степени мое сердце, по самой природе своей, исполнено тоски и горя!

Итак, я внезапно принял другое решение: покинуть Европу и переселиться в Америку.

В то самое время в гавани Б. снаряжали флот в Луизиану. Я условился с одним из капитанов кораблей, сообщил Амели о своем намерении и занялся отъездом.

Моя сестра была близка к смерти, но бог, предназначавший ей пальму девственницы, не хотел так скоро призывать ее к себе; ее испытание на земле было продолжено. Вторично придя на тяжелое житейское поприще, героиня, согбенная под тяжестью креста, смело шла навстречу горю, видя в борьбе только одно торжество, а в чрезмерном страдании – только чрезмерную славу.

Продажа того немногого, что у меня оставалось и что я уступил брату, долгие приготовления к отъезду, противные ветры надолго задержали меня в гавани. Каждое утро ходил я за известиями об Амели и возвращался всегда с новым поводом для восхищения и для слез.

Я беспрестанно бродил вокруг монастыря, построенного на берегу моря. Я часто замечал за маленьким решетчатым окном, выходившим на пустынный берег, монахиню, сидевшую в задумчивости; она мечтала, смотря на океан, где показывались корабли, направлявшиеся во все концы земли. Часто при свете луны я видел ту же монахиню у ее окна: она любовалась морем, освещенным ночным светилом и, казалось, прислушивалась к шуму волн, которые грустно разбивались о пустынный берег.

Мне кажется, будто я еще слышу колокол, призывавший по ночам монахинь к бодрствованию и молитве. В то время как он медленно гудел, а монахини молча собирались к алтарю, я бежал в монастырь; там, один у его стен, я прислушивался в святом экстазе к последним звукам псалмов, которые смешивались под сводами храма со слабым плеском волн.

Сам не знаю, каким образом все то, что должно было возбуждать мое горе, наоборот, притупляло его жало. Моя слезы немного утратили свою горечь, когда я проливал их среди скал и ветров. Даже самое мое горе, вследствие необычайности, заключало в себе и лекарство: можно наслаждаться тем, что не составляет общего достояния, хотя бы это было и несчастием. Я почти стал надеяться, что и сестра моя, в свою очередь, будет менее несчастна.

Письмо, полученное от нее перед самым моим отъездом, казалось, подтверждало это. Амели нежно упрекала меня за мою тоску и уверяла, что время уменьшает ее горе. «Я не отчаиваюсь в своем счастьи, – писала она. – Огромность жертвы, к тому же уже совершенной, возвращает мне некоторый покой. Простота моих подруг, чистота их обетов, правильность их жизни – все это льет бальзам на мою жизнь. Когда я слышу, как бушует буря и как морская птица бьется крыльями о мое окно, я, бедная голубка неба, думаю о том, как я счастлива, что нашла убежище от бурь. Здесь - священная гора, высокая вершина, куда доносятся последний шум земли и первые звуки небесной музыки. Здесь религия сладко убаюкивает чувствительную душу: самую страстную любовь заменяет она чем-то вроде жгучей непорочности, в которой соединяются любовника и девственница; она очищает вздохи; она превращает в пламя непорочное пламя тленное, она дивно примешивает свое спокойствие и свое целомудрие и к остатку потухающей жизни».

Я не знаю, что еще мне предназначило небо и не желало ли оно предупредить меня, что все мои шаги будут сопровождаться бурями. Дан был приказ к отплытию флота: уже несколько кораблей подняли свои паруса при закате солнца. Я решил провести последнюю ночь на суше, чтобы написать Амели прощальное письмо. Около полуночи, когда я был погружен в это занятие и обливал слезами бумагу, слух мой был поражен шумом ветра. Прислушиваюсь, и вдруг среди бури раздались звуки набата, смешанные со звоном монастырского колокола. Бегу на берег; там все было пустынно, и лишь слышен был рев волн. Сажусь на скалу. С одной стороны простирались предо мною блестящие волны, с другой – темные стены монастыря смутно терялись в высоте. Слабый свет виднелся в решетчатом окне. Не ты ли это, о, моя Амели. повергшись к стопам распятия, молила бога бурь спасти твоего несчастного брата? Шторм на море – тишина в твоем убежище; люди, разбитые о подводные скалы у самых стен приюта, который ничто не может потревожить; бесконечное за стеною келий; колеблющиеся фонари кораблей – неподвижный маяк монастыря; ненадежность судьбы мореплавателя, весталка, которая в каждом дне может видеть все будущие дни своей жизни. С другой стороны, такая душа, как твоя, о Амели, бурная, как океан; кораблекрушение более ужасное, чем крушение моряка. Вся эта картина глубоко запечатлелась в моей памяти. Солнце этого нового неба, нынешний свидетель моих слез, эхо американского берега, повторяющее слова Ренэ, знайте, что утром после этой страшной ночи, я, облокотясь на борт моего корабля, смотрел, как навеки удалялась от меня моя родная земля! Я долго глядел на берег, на последние колыханья деревьев моей родины, на крыши монастыря, скрывавшиеся на горизонте.

Ренэ, окончив свой рассказ, вынул с груди бумагу и передал ее отцу Суэлю, затем, упав в объятия Шактаса и заглушая свои рыдания, он дал время миссионеру пробежать поданное ему письмо.

Оно было от игуменьи монастыря Б. и сообщало о последних минутах сестры Амели из Общины милосердия; она скончалась как жертва своего рвения и сострадания, ухаживая за подругами, заболевшими заразительной болезнью. Вся община была в неутешном горе и считала Амели святой.

Игуменья прибавляла, что в течение ее тридцатилетнего управления монастырем она не видала монахини столь кроткого и ровного характера, монахини, которая бы больше, чем она, радовалась, что покинула треволнения света.

Шактас сжимал Ренэ в своих объятиях; старец плакал.

– Дитя мое, – сказал он своему сыну, – как бы я желал, чтобы отец Обри был здесь: он вызывал из своего сердца мир, который успокаивал бури, хотя, казалось, сам не был им чужд; его можно было сравнить с луною в бурную ночь: блуждающие облака не могут унести ее в своем полете; чистая и неизменная, она спокойно плывет над ними. Увы, что касается меня, то все меня смущает и увлекает за собой!

До сих пор отец Суэль не произнес ни слова и с суровым видом слушал рассказ Ренэ. Он таил в себе сострадательное сердце, но высказывал непреклонный характер. Чувствительность сашема заставила его нарушить молчание.

– В этой истории, - сказал он брату Амели, – ничто не заслуживает сострадания, которое вам высказывают. Я вижу молодого человека, голова которого набита химерами: все ему не нравится, он уклонился от общественных обязанностей, чтоб предаться бесполезным мечтам. Никто не может считать себя выше других людей только оттого, что свет ему представляется в отвратительном виде. Людей и жизнь ненавидят лишь потому, что смотрят на них не с достаточного расстояния. Расширьте несколько ваш взгляд, и вы скоро убедитесь, что все страдания, на которые вы жалуетесь, – чистейший вымысел. Но какой стыд, что вы не можете думать об единственном несчастьи вашей жизни, не краснея при этом! Вся чистота, вся добродетель, вся набожность и все венки святой делают едва переносимой единственную мысль о вашем горе. Ваша сестра искупила свой грех; но если следует высказать мою мысль, то, признаюсь, я боюсь, чтобы из ужасной справедливости, признание, вышедшее из гроба, не смутило, в свою очередь, и вашу душу. Что вы делаете в глуши лесов, где вы в одиночестве проводите дни, пренебрегая всеми вашими обязанностями? Святые, скажете вы мне, погребали себя в пустынях. Они пребывали там со своими слезами и на умерщвление своих страстей тратили то время, которое вы тратите, быть может, на разжигание ваших. Высокомерный юноша, вы вообразили, что человек может довольствоваться самим собою! Одиночество губительно для того, кто не живет в нем с богом; оно увеличивает силы души, но в то же время отнимает у них всякий повод к развитию. Всякий, получивший силы, должен посвятить их на служение своим ближним; бросая их без пользы, он сначала наказывается тайным страданием, и рано или поздно небо посылает ему страшную кару.

Смущенный этими словами, Ренэ поднял с груди Шактаса свою униженную голову. Слепой сашем улыбнулся, и эта улыбка одного рта, не соединявшаяся с улыбкой глаз, носила отпечаток чего-то таинственного и небесного.

– Сын мой, – сказал слепой, – он строг с нами обоими, он бранит и старика, и юношу, и совершенно справедливо. Да, ты должен отказаться от этой необыкновенной жизни, полной только одной тоски. Лишь обыденный путь ведет к счастью.

Однажды Мешасебе, еще довольно близко от своего истока, надоело быть простым чистым ручьем. Она просит снегов у гор, воды у потоков, дождей – у бурь, она разливается и опустошает свои чудесные берега. Сначала гордый ручей радуется своему могуществу, но, видя, что на пути его все превращается в пустыню, что он течет всеми покинутый, что воды его всегда мутны, он пожалел о смиренном русле, прорытом для

него природой, о птицах, цветах, деревьях и ручьях – прежних скромных товарищах его мирного течения.

Шактас умолк, и раздался голос фламинго, который, укрывшись в тростники Мешасебе, возвещал бурю к полудню. Три друга направились к своим хижинам. Ренэ шел молча между миссионером, молившимся богу, и слепым сашемом, нащупывавшим дорогу.

Говорят, что Ренэ, убежденный двумя старцами, вернулся к своей жене, но не нашел счастья с ней. Вскоре после того он погиб вместе с Шактасом и отцом Суэлем во время резни французов и натчесцев в Луизиане. Еще и теперь показывают утес, на котором он обычно сидел при закате солнца.

6 семестр
Вопросы для самопроверки

1. «Лорд Джим» – портрет в зеркалах (использование точки зрения персонажей для создания образа героя неоромантической прозы).
2. Модификация классического романа воспитания в «Комнате с видом на Арно» Э.М. Форстера.
3. Социальные и гендерные конфликты в пьесах Д.Б. Шоу «Человек и сверхчеловек», «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца».
4. Поэзия У.Б. Йейтса.
5. Эпический театр Б. Брехта.
6. Поэзия Р.М. Рильке.
7. Двоящийся нарратив и эффект затемнения в повести «Поворот винта» Г. Джеймса.
8. Буквальный и аллегорический уровни текста в романе Д. Стейнбека «Гроздья гнева».
9. Поэзия Р. Фроста.
10. «Бесплодная земля» Т.С. Элиота – урбанистическая, мифологическая и религиозная поэма.
11. Перечислите основные характеристики модернистского текста. Приведите примеры из литературы XX века.
12. Чем отличаются пьесы «театра идей» Бернарда Шоу от пьес реалистического театра?
13. Перескажите сюжет античного мифа о возвращении Одиссея домой. Как этот сюжет отражен в «Улиссе» Джеймса Джойса?
14. Какие черты характера Гэтсби из романа Скотта Фицджеральда сближают его с героями (нео)романтической прозы?
15. Перечислите основные характеристики стиля Эрнеста Хемингуэя.
16. В литературных утопиях и антиутопиях 20 века используются мотивы из жанров литературы XVIII–XIX веков. Что это за жанры? Приведите примеры из романов Джорджа Оруэлла или Олдоса Хаксли.
17. Перечислите аллегорические образы из романа Голдинга «Повелитель мух».
18. Почему Холден Колфилд решает не уезжать из Нью-Йорка? Как меняется герой в романе Сэлинджера?
19. Почему Гумберт Гумберт из романа В. Набокова «Лолита» является «ненадежным» повествователем?
20. Опишите основные особенности современного литературного процесса (1991–2018). Какие современные художественные произведения зарубежной литературы вам известны?

7 семестр

Вопросы для самопроверки

1. Коллеж патафизиков и «Пена дней» Виана. Отражение принципов УЛИПО в «Упражнениях в стиле» Р. Кено.

2. Время и пространство в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте».

3. «Картезианское», рациональное начало и «юнгианское», мистическое начало в «Моллое» С. Беккета.

4. Религиозная и социальная проблематика романов Г. Грина «Конец одного романа» и «Тихий американец».

5. Исторический постмодернистский роман: «Любовница французского лейтенанта» Д. Фаулза.

6. Религиозно-философская концепция, представленная в повестях и рассказах Д. Д. Сэлинджера о семье Глассов.

7. «Формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность» в «Лолите» В. Набокова.

8. Гносеологические, конспиративные и физические теории, рассматриваемые в романе Т. Пинчона «Выкрикивается лот 49».

9. Модификация жанра вестерна в романе К. Маккарти «Кровавый меридиан».

10. Типы «фантастического» в рассказах Х. Кортасара.

11. Я очнулась после наркоза, чувствуя себя всеми брошенной и забытой, и сразу же спросила акушерку: «Мальчик или девочка?» И когда услышала, что девочка, отвернулась и заплакала. А потом говорю: «Ну и пусть. Очень рада, что девочка. Дай только бог, чтобы она выросла дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее быть хорошенькой дурочкой».

Кто произносит эти слова в романе Фицджеральда?

А. Дэзи.

Б. Джордан.

В. Кэтрин.

Г. Миртл.

12. «Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно _____».

Как завершается последнее предложение из романа Фицджеральда?

13. Что чуть не смахивает с камина Гэтсби во время встречи с Дэзи?

А. Письмо.

Б. Статуэтку.

В. Фотографию Дэзи.

Г. Часы.

14. Как связаны Дэзи и Ник?

А. Она была обручена с ним.

Б. Она – его троюродная сестра.

В. Они вместе учились в университете.

Г. Они знакомятся на вечере у Гэтсби.

15. Кто и почему убивает Гэтсби?

16. Вставьте пропущенные слова:

«Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — _____».

17. В последнем эпизоде романа Оруэлла Уинстон водит пальцем на пыльной крышке стола и пишет:

А. Незнание – сила.

Б. Я люблю Старшего Брата.

В. Бог – это Власть.

Г. 2 × 2 = 5.

18. В книге Голдстейна говорится о том, что только одной группе людей не удавалось за всю историю человечества достигнуть своих целей:

А. «Высшим».

Б. «Средним».

В. «Низшим».

Г. «Деклассированным».

19. В новоязе из романа Оруэлла нет слова:

А. Детоводство.

Б. Мыслепреступление.

В. Речекряк.

Г. Старомысл.

20. Во время приема в Братство Уинстон и Джулия отвечают «нет» на вопрос:

А. Вы готовы пожертвовать жизнью?

Б. Вы готовы подвергнуться полному превращению и до конца дней быть официантом или портовым рабочим?

В. Вы готовы расстаться и больше никогда не видеть друг друга?

Г. Вы готовы плеснуть серной кислотой в лицо ребенку?

21. «О дивный новый мир, где обитают такие люди», – цитата из пьесы Шекспира, которая называется:

А. «Гамлет».

Б. «Отелло».

В. «Двенадцатая ночь».

Г. «Буря».

22. Вставьте пропущенное слово:

«— Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы, и добра, и греха.

— Иначе говоря, вы требуете права быть _____, — сказал Мустафа».

23. Девиз Мирового государства: «Общность, одинаковость, _____»:

А. Безопасность.

Б. Комфортность.

В. Стабильность.

Г. Удовлетворенность.

24. Бернард и Ленайна наблюдают в резервации за танцем индейцев пуэбло. Ритуал проводят для…

А. Вызова дождя.

Б. Очищения.

В. Единения.

Г. Удачной охоты.

25. Что доказал эксперимент, проведенный на Кипре?

А. Общество не может состоять из одних только «альф».

Б. Общество не может функционировать без сомы.

В. Пространство и время существуют только в человеческом разуме.

Г. Плановая экономика по всем параметрам превосходит рыночную.

26. Восстановите пропущенные слова в цитате из «Повелителя мух».

«И вы вообразили, будто меня можно выследить, убить? – сказала голова. <…> – Но ты же знал, правда? Что я – _____? Что это из-за меня ничего у вас не вышло? Что все получилось из-за меня?»

27. Очки Хрюши из романа Голдинга – аллегорический образ, обозначающий:

А. Истину.

Б. Рациональное знание.

В. Точность.

Г. Мир взрослых.

28. Кого выбирают лидером во время первого голосования?

А. Джека.

Б. Ральфа.

В. Саймона.

Г. Хрюшу.

29. Голдинг отрицал, что был знаком с одним из возможных источников «Повелителя мух»:

А. Откровение Иоанна Богослова («зверь, выходящий из моря»).

Б. «Вакханки» Еврипида (одного из героев убивают во время вакханалии).

В. «Сердце тьмы» Джозефа Конрада («Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темно человеческое сердце»).

Г. «Коралловый остров» Баллантайна (подростки создают колонию на необитаемом острове).

320. Остров из романа Голдинга находится в…

А. Тихом океане.

Б. Атлантическом океане.

В. Средиземном море.

Г. В романе ничего не говорится о местоположении острова.

Методические материалы утверждены на совместном заседании кафедр массовых коммуникаций и теории и истории журналистики (протокол № 6 от 02.09.2020).